

ВРЕМЯ ШМБ 74 1983



- ТЕАТР АБСУРДА
- СОВЕТСКИЕ ВОЖДИ В АНЕКДОТАХ
- ПАРИЖСКИЙ АЛЬБОМ ХОДАСЕВИЧА
- ЛИТЕРАТУРА И АНТИВРЕМЯ
- МОРАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗРАИЛЯ

Григорий Перкель
Праздник Пурим



ВРЕМЯ И МЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЖУРНАЛ
ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ

Девятый год издания

Выходит один раз
в два месяца

74
1983

СЕНТЯБРЬ - ОКТЯБРЬ

НЬЮ-ЙОРК — ИЕРУСАЛИМ — ПАРИЖ

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВРЕМЯ И МЫ" — 1983

**ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ЛИЯ ВЛАДИМИРОВА	КАРЛ ПРОФФЕР
ИЛЬЯ ГОЛЬДЕНФЕЛЬД	АЛЕКСАНДР ПЯТИГОРСКИЙ
МИХАИЛ КАЛИК	ИЛЬЯ СУСЛОВ
АСЯ КУНИК (отв. секретарь)	ДОРА ШТУРМАН (зам. гл. редактора)
ЛЕВ ЛАРСКИЙ	ЕФИМ ЭТКИНД
ЛЕВ НАВРОЗОВ	

Израильское отделение журнала "Время и мы"

Заведующая отделением Дора Штурман
Адрес отделения: Jerusalem, Talpiot mizrach, 422/6

Французское отделение журнала "Время и мы"

Заведующий отделением Ефим Эткинд
Адрес отделения: 31 Quartier Boieldieu, 92800 PUTEAUX
FRANCE

Представители журнала:

Англия Александр Штротас
Croft House, Top Flat 32 New Hey Road Rastrick.
Brighouse W. Yorkshire HQ6 3PZ ENGLAND

Западный Юесве Мисхижев
Берлин Hussiten Str. 60, 1000 Berlin 66

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Виктор ПЕРЕЛЬМАН
Театр абсурда 5
Аркадий ЛЬВОВ
Прекрасный конек-горбунок 74

ПОЭЗИЯ

Лев МАК
Электрический ветер 89
Савелий ГРИНБЕРГ
Осколковщина 102

ПУБЛИЦИСТИКА. СОЦИОЛОГИЯ. КРИТИКА

Владимир ШЛЯПЕНТОХ
Эссе о власти 107
Дора ШТУРМАН
Советские вожди на языке острословов 128
Соломон ЦИРЮЛЬНИКОВ
Моральная дилемма Израиля 148
Борис ХАЗАНОВ
Опровержение литературы 163

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Ирина ОДОЕВЦЕВА
Бунин 187

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Владислав ХОДАСЕВИЧ
Парижский альбом 207

ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"

По ту сторону окна 244



Виктор ПЕРЕЛЬМАН

ТЕАТР АБСУРДА

*Комедийно-философское повествование
о моих двух эмиграциях*

НЬЮ-ЙОРК

Ах, как мало в нашей жизни значат цель и преднамеренность! Все определяет случай. Вот надумали вы поступить определенным образом и заготовили на этот счет все необходимые мысли, и все в голове уложено в стройную пирамиду, но вдруг какой-то с виду чистейший пустяк ломает ваши планы, и вы, пленник случая, ровным счетом ничего не можете переиначить.

Так и с этой моей книгой, для которой у меня уже давно было заготовлено начало и которое я раз десять выверил в своей голове,— все получалось логичным, основательным и соответствующим теме. И я уже готов был сесть за машинку, как вдруг вмешалось совершенно комичное обстоятельство — я получил от своего старого московского знакомого курьернейшее и неизвестно как прорвавшееся сквозь железный занавес письмо: как они там в Москве, сидя в пивном баре Дома журналиста, рисуют мою жизнь в Нью-Йорке.

Когда-то, эдак лет двадцать пять назад, мы служили вместе с ним в многотиражной газете "За отличный рейс" под

Мнений, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.

руководством нашего незабвенного редактора Никиты Ивановича Болотникова, он же "Болт", он же "Кувшиное рыло" (никогда не пытайтесь искать логики в редакционных прозвищах). И всякий раз, пока в типографии "Московской Правды" печаталась наша газета, а Никита Иванович почивал у себя дома в Красной Пахре, мы шли с этим моим приятелем в "поплавок" и, заказав по сто пятьдесят грамм и кружке пива, предавались мечтам, как будем прорываться в большую прессу. И с чего бы ни начинали, рано или поздно наш разговор обращался к хрущевскому зятю и фавориту Алексею Ивановичу Аджубею. При имени Аджубея глаза у Миши Блоха — так звали моего приятеля — загорались нездоровым и даже каким-то плотоядным блеском, каким обычно загорались, когда, едучи в перовской электричке, он натыкался на нечто способное красить его вечер.

Между прочим, родился он как раз в Перове, в патриархальной еврейской семье, папа его был шотхеном, что не помешало стать Мише настоящим половым разбойником, перед которым не могла устоять ни одна из перовских заочниц.

Заочницы были Мишиной специальностью. Действовал он обычно в электричках, идя на стыковку со своими жертвами в тамбурах. "Вы — заочница?", — неотразимо вздымал он свои черные мифистофельские брови. Все остальное было делом времени, счет которому он никогда не забывал вести: не более вечера на заочницу.

О времени он забывал лишь, когда усаживался в одном из мягких кресел Дома журналиста и начинал анализировать жизнь московских редакторов — он был кладезем информации, которой он готов был поделиться с вами в любое время суток.

По имеющимся у Миши сведениям, Аджубей уже давно не жил с хрущевской дочерью Радой, как никогда не бывал в "Известиях". Всю работу за него делали "негры", а сам он постоянно сопровождал Никиту в его поездках по миру и по Америке. При слове "Америка" Миша откидывался в кресле и, блаженно затянувшись сигаретой, смолкал.

Позже, когда наши дороги разошлись — я ушел в "Литературку", а Миша — неизвестно куда (злые языки говорили,

что он пристроился в журнал "Служба быта"), и мы почти не встречались, — так вот, позже, когда я подал заявление в Израиль, Миша, как мне рассказывали, страшно упился в баре ДЖ, стал мне прочить великое будущее, но позвонить и попощаться так и не решился.

И вот, скажите, кто бы мог предвидеть, что, спустя столько лет, он решится написать мне письмо — и куда? — прямо в Нью-Йорк, на Пятую авеню, в редакцию журнала, само название которого, я думаю, он никогда не произносил вслух.

Из вежливости, в начале письма, он спросил, помню ли я его, затем сообщил, что Никита Иванович в позапрошлом году отдал концы, и безо всякой связи с предыдущим стал расписывать слухи, которые ходят про меня в Московском Доме журналиста. Понять, что было правдой, а что было его комментарием, не представлялось никакой возможности.

Ну, во-первых, сразу же по приезде из Израиля в Америку меня пригласили в Вашингтон и предложили стать советником по русским делам. В связи с этим у меня и появился собственный дом в штате Нью-Джерси. О таком офисе, как у меня, разумеется, не мог мечтать никакой вшивый Аджубей: в центре Нью-Йорка, на сто пятом этаже, в одном из тех нью-йоркских небоскребов, где, согласно газете "Правда", обделывают свои дела самые крупные воротилы Уолл-стрита. Впрочем, в этом офисе я почти не бываю, поскольку все мое время занимает Вашингтон. А в редакции все за меня делают "негры", одним из которых и мечтал стать друг моей юности.

Так вот, уважаемый читатель, мог ли я начать свою книгу, не упомянув этого письма из Москвы, тем более, некоторые его мотивы явно перекликаются с некоторыми выступлениями в эмигрантской печати. Не в том, конечно, смысле, что Вашингтон не делает без моего совета и шага — такого со страниц эмигрантской печати мне не услышать до конца дней, а вот в том смысле, что работают на меня безгонорарные "негры" и что именно за их счет и появился у меня дом в штате Нью-Джерси и уж пару копеек я на журнале имею — не то, зачем бы я стал держать журнал — идиоты в наши дни перевелись.

Боже, как добры и прекрасны люди в своих представлениях о ближнем и о мире, в котором они живут! И каково будет историкам будущего разгребать эти Гималаи добра. Конечно, указанным историкам я мог бы предъявить все семьдесят четыре выпущенных мною журнала, но ведь вопрос в том, как я их выпустил. Не стану же я уверять, что я это сделал один, а если не один — то с кем? А если с кем — то платил ли за это? А если платил — то по каким ставкам? Хорошо, что историки будущего — не сотрудники ОБХСС. Можно представить, сколь интересен был бы этот диалог-допрос! Но, с другой стороны, овеянный подобной "славой", я чувствую себя просто не вправе скрыть от историков будущего, как и в каких условиях, расположившись в Нью-Йорке, в центре мира, жил и издавался один из самых популярных журналов русского зарубежья.

Читателей будущего, возможно, будет интересовать все — начиная от того, откуда взялся этот журнал и его редактор и как он жил, и кончая тем, как жили и существовали его сотрудники.

Итак, по порядку, вначале об офисе, который расположен в самом центре Нью-Йорка, на Пятой авеню. Сюда, точнее, на центральную автобусную станцию, я отправляюсь каждое утро из своей Леонии, расположенной на Востоке штата Нью-Джерси.

Улица, на которой я живу, называется Хайвуд авеню. Из ее обитателей я знаком только с соседом справа, по фамилии Виноград. Мы познакомились, когда, выпив во время новоселья, я стукнул задом своего "Бюика" его новенькую "Субару", с которой он каждое утро сметал пылинки. Я тотчас же отправился к нему и сознался в содеянном. Он молча дымил сигарой и назавтра принес мне на выбор два счета двух разных компаний за ремонт "Субары" — один на четыреста долларов, другой — на четыреста пятьдесят.

Соседей напротив, несмотря на то, что мы живем в Леонии третий год, я не знаю вовсе. То есть я, конечно, знаю, что они существуют, но я не знаю их имен и — что уж совершенно нелепо — я плохо различаю их лица. Может быть, потому что я

их почти не вижу. Несмотря на то что Хайвуд авеню мне кажется самой зеленой и самой красивой улицей в мире, они имеют обыкновение появляться на ней только два раза в сутки — один раз утром, когда заводят машину и выезжают из гаража, и другой раз — вечером, когда паркуются возле своих домов.

Впрочем, этим я совсем не хочу сказать, что наши отношения прохладны. Скорей, наоборот. В те редкие мгновения, когда они меня видят, на их лицах появляется солнечная улыбка и они весело приветствуют меня: "How are you doing?" (что в переводе с английского означает, как я себя чувствую?). На моем лице загорается нечто не менее лучезарное, и я восклицаю: "Fine!" (что означает — прекрасно!). Я знаю, что у меня есть варианты: "O'key" или "No bed", или "All right". Но мне больше всего нравится "fine" своей безапелляционной законченностью. Можно "No bed". Но почему "No bed"? Между нами может возникнуть диалог, что, по моему, ни в мои, ни в их планы не входит. Один мой знакомый из Бруклина решил провести эксперимент и на веселое восклицание соседа: "How are you doing?" ответил: "Bed, very bed!" Сосед на него посмотрел таким взглядом, будто плюнули ему в душу, и с этого дня перестал с моим знакомым здороваться.

Мой путь от дома до офиса занимает меньше часа. Из них пятнадцать минут, выйдя из центральной автобусной станции, я иду с запада на восток по самой экзотической улице мира — Сорок второй стрит, где с утра до вечера бродят вечно бормочущие себе что-то под нос философы. Мой приятель и сосед по Леонии математик Борис Мойшезон говорит, что если кто-то ему и внушает ужас на Сорок второй, то это не буйные пуэрториканцы и не гигантские негры, напоминающие наших доисторических предков, а едва слышно бормочущие философы, поскольку никогда не известно, о чем именно они бормочут, проходя мимо тебя.

Так вот, если по Сорок второй вы дойдете до Пятой авеню и, пересекши ее, свернете направо, то упретесь в знаменитый "Колумбия-билдинг". Миновав мраморный вход и очувств-

шись в отделанном бронзой мраморном лобби, вы должны будете подняться на лифте на пятый этаж (сто пятый этаж — был некоторым преувеличением), затем свернуть налево и еще раз налево — и тогда вы окажетесь перед дверью, на которой вы увидите наклеенную мощную золотую цифру: 511-А, а под ней такими же золотыми буквами выведено: "ГИЛДЕС-МАН ИНКОРПОРЕЙШН" и "АМЛЕВ ИНТЕРНЕЙШЕНЛ".

Открыв дверь, вы попадете в темный предбанник, а свернув из него направо, окажетесь в редакции международного журнала литературы и общественных проблем "Время и мы". Поскольку в Америке все измеряется на футы, я вечно путаю, сколько в нашем офисе метров и сколько футов, но, боюсь, что по площади он явно уступает редакции газеты "За отличный рейс", где, кроме Никиты Ивановича, размещалось еще пять сотрудников.

В редакции нашего международного журнала есть место максимум для двух столов: один мой, то есть редактора, другой — моей правой руки и зама, она же — литсекретарь, худред, корректор, зав.отделом писем и машинистка. Чтобы уже закончить с офисом, надо еще упомянуть о пяти громадных, поставленных друг на друга ящиках для рукописей графоманов.

В моем письменном столе также несколько ящиков, в которых для рукописей нет места. Мой стол — моя крепость, крепость против всех, кому я должен, а должен я всему миру: читателям, которые разочаровались в последних номерах, подписчикам, которые вовремя не получили журнал, авторам, которые требуют гонорара, нью-йоркской телефонной компании, фирме Ай-би-эм, Сити-банку и, конечно же, хозяину офиса мистеру, Гилдесману.

Поэтому ящики моего стола полны неоплаченных счетов и платежей, гневных писем читателей, требованиями подписчиков вернуть деньги за недоставленные журналы и, конечно же, претензиями авторов, которым надоело быть безгонорарными "неграми". Вот самая последняя — от одной из наших старейших и уважаемых авторш, — радует меня следующим изящным пассажем: "Дорогой и многоуважаемый Виктор

Борисович, посылаю вам интервью с портретистом века Иваном Григорьевичем Костомаровым — последним потомком Ильи Ефимовича Репина и автором семисот семидесяти шести портретов замечательных людей, в том числе Джона Луи Бонапарта, скончавшегося месяц назад в Лос-Анджелесе. Я вложила в это интервью, дорогой Виктор Борисович, столько сил, что на этот раз меньше, чем за пятьдесят долларов, вам не отдамся".

Переступая порог редакции, я бросаю ястребиный взгляд на стол; сколько пришло сегодня... Нет, не рукописей, уважаемый читатель, о рукописях несколькими строками ниже — а сколько пришло чеков от новых подписчиков.

Все мои друзья уже давно жаждут подписаться, но в последний момент каждому что-то мешает: один — вот напасть! — только что потерял работу, другой — напротив — только что купил за сто пятьдесят тысяч дом, третий — именно вчера решил завязать и читать только по-английски, четвертый... ах, Боже, — что же случилось с четвертым? — У четвертого — журнал, как назло, не влезает в почтовый ящик.

И если чеков становится все меньше, то с рукописями как раз наоборот: пяти ящиков уже не хватает и на днях ставим в коридор шестой. Рукописи присылаются разные (самые опасные — это те, у которых заголовки выведены золотой вязью. Золотая вязь — признак пробивного таланта их автора), и большинству из них предпосланы похожие как близнецы авторские послания. "Дорогая, многоуважаемая редакция! Впервые я увидел ваш журнал еще в Риме и с тех пор загорелся мечтой при первой же возможности...". Нет, не подписаться на журнал загорелся наш страстный автор. О подписке уже было несколькими строками выше — а решился прислать нам свое нетленное творение, которое т а м , естественно, не смогли оценить и которое, как он смеет надеяться, оценят здесь, в его любимом издании. Если же редакция не найдет возможным его напечатать, то он просит ее высказать свое мнение, чтобы знать, как ему быть со своим талантом в этой проклятой Америке, где все только и кричат: "Доллары, доллары" и ни в грош не ценят настоящую литературу.

Все это касается литературной жизни, которая кипит на моем столе. Моя правая рука и зам, она же в прошлом ученый секретарь Комиссии по содружеству наук и тайнам творчества при Академии наук СССР, сидит от меня слева, за столом, стоящим перпендикулярно к моему. На ее столе размещено наше главное орудие производства, наша алма-матер, которую я вывез из Израиля, — электронный композер, на котором набирается наш журнал. Алма-матер — это большая пишущая машинка. Моя правая рука, естественно, ненавидит нашу алма-матер всеми фибрами своей души. "Скажите, что вам нужна обычная машинистка, — говорит она всякий раз, когда я начинаю поторапливать с набором. — Вы просто воспользовались невинностью малютки!". Но я не хочу лишиться своей правой руки, поэтому я говорю, что машинисток в Нью-Йорке — как нерезаных собак — а правая рука у меня одна.

У моей правой руки, если быть откровенным, характер не сахар, хотя она постоянно восклицает: "Я — ангел!" И неизменно требует, чтобы я называл ее "умница и красавица". И я готов это делать, поскольку это соответствует действительности. Но мне всегда что-то мешает, как вечно что-то мешает моим друзьям подписаться на журнал. То я встаю не с той ноги, то на столе вместо стопки чеков обнаруживаю гору рукописей, увенчанных золотой вязью, то в журнале проскакивает неприятная описка, вызывающая негодование наших читателей.

Однажды произошло нечто страшное. Великий вождь мирового пролетариата Лев Давидович Троцкий был назван в нашем просвещенном издании Львом Борисовичем (позже никто из нас не мог найти этому рационального объяснения).

— Ах, как вы это могли пропустить!? Как вы только могли? — держался я за сердце.

— Ах, как я могла пропустить! А почему вы не посчитаете, сколько нелепостей я не пропустила? Боже, что за нещедрость на доброе слово!

В нашей редакции никогда не бывает денег, и поэтому ни о какой другой нещедрости речь не заходит.

На столе моего зама нет живого места. Что же касается содержимого ее ящиков, то о нем я вообще говорить не

намерен, поскольку перечислить его все равно не смогу, а врага в лице зама — наживу. К моему заму я еще вернусь, а пока о прочих фирмах, по-соседству с которыми размещается наш журнал.

Первая из них находится в той же комнате, что и редакция, примерно в полутора метрах от моего стола, точнее, между столом и входной дверью. Название фирмы ее президент москвич Нолик Вольман пока-что держит в секрете, но даже его недоброжелатели признают, что в его руках самый сногсшибательный бизнес в Нью-Йорке. Чтобы не томить читателя и не без тайного умысла создать Нолику рекламу, скажу, что Нолик решил сделать деньги на тибетской медицине и продает своим клиентам целебное мумие (за что недоброжелатели прозвали его фирму "Мумие-инкорпорейшн" и, будучи неспособными к полету фантазии, пустили слух, что мумие — это просто мышинный помет). В том, что он сделает на мумие миллион, у Нолика нет никаких сомнений, но пока из-за отсутствия стола, сам президент на фирме почти не бывает. Бизнес он ведет по телефону, давая указания моему заму, какое количество целебных шариков и за сколько долларов отпустить тому или иному клиенту. Последние вместе с целительным препаратом получают пятнадцатистраничную методичку советских академиков — Алтымышева и Корчубекова "Что мы знаем о мумие?"

По всем вопросам бизнеса редакцию консультирует президент фирмы "Амлев интернейшенл" Илюша Берков (если помнит читатель, ее название золотыми буквами украшает вход в отсек 511-А). Именно ему я обязан тем, что вместе с журналом оказался в одном из самых роскошных зданий Нью-Йорка под одной крышей с воротилами Уолл-стрита. И именно он, преисполненный заботами о журнале, представил меня хозяину нашего отсека 511-А и президенту фирмы "Гилдесман инкорпорейшн" Майклу Гилдесману, уже вскользь упомянутому мной среди моих кредиторов.

По словам Илюши, который выглядит стопроцентным американцем, большего нуля в американском бизнесе, чем я, ему встречать не приходилось. Мы оба с ним гуманитарии —

но, в отличие от меня, окончив Колумбийский университет и расставшись с политологией, он и в бизнесе уже успел съесть собаку. С внешним миром президент фирмы "Амлев интернейшенл" общается исключительно по-английски, не придавая огласке совершенно ничтожного факта, что девятилетним ребенком родители вывезли его из Риги в Израиль. Дома родители разговаривали с Илюшей всегда на идиш, и поэтому Илюшин русский отличается от русского Качалова или Аллы Константиновны Тарасовой. Но он явно питает к нему необъяснимую слабость и старается разговаривать со мной и с моим замом исключительно пословицами и поговорками, которых знает несметное множество и в самых новейших вариантах.

"За столом никто у нас не лифшиц, Виктор Борисович!" — восклицает он, видя, как почтальон вручает мне очередную рукопись графомана.

Какими делами занята фирма "Амлев интернейшенл", я представляю довольно смутно. Но от моего взгляда не ускользнуло, однако, что, сопровождая меня на встречу к Майклу Гилдесману, Илюша вошел в наше мраморное лобби походкой начинающего воротилы Уолл-стрита.

Мое вселение в эту цитатель капитала совпало с судьбоносным событием в жизни фирмы "Амлев интернейшенл". Именно в этот день была основана ее дочерняя компания "Хадсон секьюрити" — что в переводе на русский означает "Замки Гудзона" и сулит куда быстрее, чем "Амлев интернейшенл" приблизить Илюшу к первому миллиону.

Правда, первые замки Гудзона должны были производиться не на Гудзоне, а на Аярконе, на берегах которого в центре Тель-Авива Илюша и разыскал себе партнеров для дочерней фирмы "Хадсон секьюрити". Ими оказались два русских бизнесмена — Сеня и Изя, которые, еще не сделав ни одного замка, едва не разошлись на почве того, в какой упаковке отправлять их из Тель-Авива в Нью-Йорк.

По-моему, Илюша проклял тот день и час, когда он с ними связался. Но, как всегда, он был полон оптимизма. "Тише едешь, дальше будешь, Виктор Борисович". Однако по секрету он сообщил, что вступил в сепаратные переговоры еще с

одним русским бизнесменом — Пиней из Несциона, главным конкурентом Изя и Сени по части производства замков. И очень скоро пришел на работу с маленькой картонной коробочкой, украшенной звездой Давида.

"Нет такой золотой крепости, которую бы не взяли два еврея, увидев позади третьего", — сообщил Илюша и элегантно движением раскрыл коробку, в которой было уложено нечто стальное и непонятное. По его сияющему лицу я понял, что передо мной долгожданный образец смешанной американо-израильской компании "Хадсон секьюрити".

Но если оставить в стороне все эти "бобкес", как их называет Илюша, то во что бы превратился наш журнал, если бы не помощь со стороны президента двух самых крупных компаний нашего отсека. И если вы копнете, читатель, самые глубины моей души, то в них теплится — о Господи, даже страшно произнести вслух! — в них теплится затаенная мечта превратить наш международный журнал в дочернюю компанию фирмы "Хадсон секьюрити" — союз замков и литературы!

Да, чуть не забыл главное. Пока что фирма "Хадсон секьюрити" имеет в соседней комнате примерно столько же места, сколько в нашей комнате — "Мумие инкорпорейшн".

Но, а кто же занимает все остальное? Вот и наступило мне время представить главное лицо нашего отсека, равно, как и главное действующее лицо первой сцены моего повествования президента фирмы "Гилдесман инкорпорейшн" Майкла Гилдесмана.

Как же злобно клеветают на Америку те, кто утверждает, что здесь не в моде русский язык. "Вы знаете что, — первое, что я услышал от Майкла Гилдесмана, — можете называть меня Матвеем Абрамовичем". Я понял, что в свои восемьдесят восемь лет Матвей Абрамович запомнил некоторые буквы русского алфавита. Но это ничуть не повлияло на его колоритную личность. И хотя его походка не наводит на мысль о мощи мирового капитала, по-моему, он единственный из нас, чей облик несет на себе черты воротилы Уолл-стрита.

Чтобы убедиться в этом, достаточно понаблюдать, как два раза в неделю он появляется в своем офисе. Никогда в жизни

без сопровождения (как и полагается акуле с Уолл-стрита) и всегда в сопровождении одного и того же лица — высокого черного официанта (нашего единственного безгонорарного негра!) с подносом на элегантно вытянутой руке. Один мерно плывет за другим. Впереди Матвей Абрамович, вслед за ним поднос со множеством тарелочек, наполненных зеленью, за ним безгонорарный негр и завершает шествие старый еврей в ермолке со счетной машинкой в руках — бухгалтер компании "Гилдесман инкорпорейшн". Матвей Абрамович шумно жует салат, бухгалтер считает на счетной машинке. Что он все время считает? Ах не задавайте мне вопросов, на которые никто в мире, кроме Матвея Абрамовича и его бухгалтера, не сможет ответить!

Великодушно разрешив называть себя Матвеем Абрамовичем, он оглядел меня добрым стариковским взглядом и сказал: "Вы, наверное, уже слышали от моего друга Беркова, какое у меня доброе сердце". И попросил за мой будущий офис 450 долларов. Я сказал: 300. Матвей Абрамович — 400. Я сказал 350. Матвей Абрамович — 375. И попросил первую плату внести сейчас же. А в дальнейшем 1-го числа каждого месяца.

"Знаете, я такой человек, что всегда помогаю людям", — заключил он и стал подозрительно рассматривать мой чек. Затем он спрятал его в карман и сказал, что с этой минуты я, как и Илья Берков, становлюсь его лучшим другом. Если швейцар спросит, куда я иду, я должен послать его к цорту и сказать, что иду к своему большому другу мистери Гилдесману. "А как же журнал "Время и мы"? — "Посылайте всех к цорту. Вы мой друг — и кончено. Так же, как мой друг Илья Берков". — "А как же мой зам и правая рука?" — "Эта та барышня в оцках? — Тоже мой друг. Нет, она лучше ваш друг, секретарша моего большого друга!" — "А молодой человек?" — вспомнил я про Нолика. "Это который сариками торгует? Это тоже мой друг. Цорт возьми, почему я не имею права иметь много друзей?! Вы знаете, сколько я нахожусь в этом билдинге? — Сорок три года. И все знают, что я всю жизнь помогаю людям".

О, где ты мой старый, добрый приятель Миша Блох! Сидишь небось и треплешься в Доме журналиста, как не

может без меня обойтись Вашингтон. А между тем, какой пропадает материал! Какой материал для рубрики "Их нравы"!

Одна только надежда на читателя, нет, нет, на зрителя, перед которым я вывожу галерею своих героев, и который, может быть, уже догадался, что в этой цитадели с мраморным лобби и в помине не числилось ни "Времени и нас", ни "Амлев интернейшенл", ни "Хадсон секьюрити". А расположена здесь компания больших друзей и подруг мистера Гилдесмана, у которого, как известно всему Нью-Йорку, доброе сердце и который в свои восемьдесят восемь лет не перестает помогать людям.

Между нами не принято говорить о презренном металле. А говорим мы исключительно о дружбе и первого числа каждого месяца передаем друг другу приветы: Нолик мне, я — Матвей Абрамовичу, Илья — ему же. Как хорошо жить в мире, где так бескорыстны и так братски участливы люди!

Когда, например, забыв про первое число, я не являюсь на работу, и не приношу нашему хозяину чек, то нет никакого шума, никто не грозит адвокатом. А просто Матвей Абрамович, плывущий впереди подноса, заглядывает в редакцию и, обшарив по сторонам своим добрым стариковским взглядом, спрашивает моего зама: "Скажите, позалуйста, мой друг — господин Виктор — случайно мне не передавал привет?" — "Нет, не передавал", — следует не лишенный тайного сладострастия ответ. "Тогда скажите, что я передаю ему горячий привет". Через неделю та же картина. Тот же безгонорарный негр, поднос с зеленью и то же доброе стариковское лицо: "Здравствуйте! Как дела? Что мой друг — господин Виктор? Все еще не передавал привет?" — "Нет, не передавал!" — "Тогда, будьте любезны, пусть он пришлет свой привет по поцте".

Вот в этот дивный уголок, в это царство добра и справедливости я и приглашаю своих многочисленных доброжелателей.

Джентльмены! Занавес поднят. Только три ступеньки вперед. Ну, что же вы стоите? Ах да! Я, кажется, понял: вас не устраивает клоунада. Вы хотите, чтобы все было серьезно и все по порядку. Я готов. Я уже начинаю...

ОТЛЕТ

В мире определено действует закономерность, согласно которой абсурд заложен в самой природе вещей.

Кестлер первый сказал, что человек с его страстью к самоуничтожению есть ошибка эволюции. Возможно, пойдя он дальше, то пришел бы к выводу, что ошибкой эволюции является вся наша цивилизация, которая по мере своего развития все больше превращается в фарс, что комедия, в сущности, не есть жанр театра, а есть жанр жизни и — кто знает, — может быть, сама история — это просто театр абсурда, а комедийность есть главная закономерность жизни современного человека. Кестлер был непревзойденный мастер вылуцивать комедию из трагедийнейших сторон жизни. Даже избранному народу, страдающему по Израилю и в день еврейского Нового года неизменно поднимающему тост: "В будущем году в Иерусалиме!" — он бросил с усмешкой: "Да перестаньте же валять дурака — или пойдите в любое агентство и купите билет на самолет, или перестаньте бормотать о своей избранности".

Наша планета просто кишит комедийными персонажами, среди которых я вижу и себя и нисколько не стыжусь этого, поскольку нахожусь в компании таких добропорядочных людей, о коих и писать неловко в столь приземленном стиле. Да вот хоть включите телевизор — я уверен, что вам повезет и вслед за кипящим, только что со сковороды, гамбургером — гигантской котлетой в разверзнутой пасти, вы увидите такого милого, такого обаятельного старичка-актера с румянами на щеках и без конца строящего вам глазки. Все аплодируют, все кричат старичку "браво"! И вы тоже благосклонно улыбаетесь. "Это же надо: мог бы уж и внуков нянчить, а он все печется о благе Америки!"

А на другом конце планеты его коллега и почти одногодка — хоть не из актеров, а из тайной полиции (все смешалось в доме Облонских) печется о том же и с двумястами семьюдесятью миллионами своих сограждан строит самое справедливое общество на земле. Да еще эдак по-отцовски вылавли-

вает своих нерадивых подданных в банях и голыми, прямо из парных, отправляет по месту работы, чтобы не ленились строить самое справедливое общество на земле.

Как объяснил нам Маркс, история развивается вначале как трагедия, а затем как фарс. Похоже, что трагедию он упомянул лишь для красного словца — лично я вижу вокруг себя один только фарс. Так что, ради Бога, не взыщите, читатель, если я позволю себе иногда пошутить, вот так просто — без всякого умысла оскорбить ваш трагедийный настрой. Я не буду злоупотреблять вашим терпением и ломать без конца комедию. Я буду просто скромно идти за жизнью и исследовать предмет за предметом. А предметом номер один, как вы, наверное, догадываетесь, является все происшедшее с нами после того, как мы погрузили себя вместе со своими семьями и пожитками в поезд и самолеты и взяли курс в направлении своей исторической родины.

Для меня все это началось в восемь утра 10 января 1973 года, когда в одном из залов Внуковского аэропорта происходило то, что называлось в том мире таможенным досмотром.

Настроение мое в то утро, прямо скажем, не было столь философически прекрасным, как сейчас, когда, упершись взглядом в живописный дом своего американского соседа Винограда я предаюсь воспоминаниям. Короче говоря, в это утро произошло худшее, что могло произойти: КГБ меня уличило в самом ужасном, в чем могло уличить, — за несколько минут до отлета, когда в набитом до отказа пассажирами самолете уже задраивались люки и он готовился взять курс на Вену, — именно в этот момент в моем чемодане была обнаружена антисоветская речь. То есть это была не речь, а нечто куда худшее — мое выступление на будущей пресс-конференции, посвященной созданию международной еврейской газеты, редактором которой я должен был стать. И тут я снимаю с себя всякую ответственность за то, насколько достоверным будет выглядеть весь мой дальнейший рассказ: хотите верьте, хотите нет. Но это могло быть только со мной — с моей маниакальной одержимостью создавать газеты и не менее маниакальной рассеянностью, — чтобы за

пять минут до отлета, соблюдая до сих пор меры предосторожности, до которых не додуматься самому полковнику Абелю, собственноручно вручить КГБ речь, из которой было видно, что мне прямо-таки не терпится заняться антисоветской деятельностью.

Да, я лично вручил, и не без выраженья на лице, — что де вот так просто нас на наживку не поймаешь, — этот обличающий меня документ. Но прежде чем продолжить, я должен открыть нечто, что, может быть, и по сей день остается секретом для израильского правительства.

Поскольку до нас доходили отрывочные слухи, что наша историческая родина несет на себе некие черты провинциальности, то каждый только для вида говорил и писал, что намерен взять и просто воссоединиться с ней. Мы рвались осуществить на этой исторической родине революцию — во всех областях буквально. Стране нужны были новые кадры, новое правительство, новые порядки. Поэтому не будем удивляться, что мы направлялись туда как своего рода правительство в изгнании: ехали не просто, скажем, инженеры и Доктора наук, но готовые директора НИИ, руководители КБ, члены Кнессета, главы дипломатических миссий, создатели национального кино и телевидения. Были среди нас даже авторы приборов по опреснению морской воды. И даже корректор журнала "Советиш Геймланд" Изя Циперсон решил плюнуть в физиономию своему шефу Арону Вергелису и отправиться в Израиль, чтобы создать литературный идишистский журнал. В этой гвардии революционеров и преобразователей, естественно, нашлось место и мне, редактору международной сионистской газеты, которую для ее большей эффективности планировалось издавать на трех языках — на иврите, английском и русском.

Впрочем, без иврита я как будущий ее редактор хотел временно обойтись, с русским проблем не было, — задачей задач было за время сидения в отказе изучить английский.

Начал я с того, что подобрал себе зама по английскому изданию — это был некий бывший внештатный гид Интуриста Саша Фут, который переселился в мою квартиру на улице Правды, и мы стали говорить с ним исключительно по-анг-

лийски. Занятие это было довольно нудным — Фут был страшной соней, и по-английски я в основном его только будил, а он на том же английском, как мог, отбивался. И вот, для того чтобы расширить мой английский словарь, мы решили расширить тематику, и главной темой бесед стала наша будущая сионистская газета. Теперь, как минимум, два раза в день мы выступали по телевидению, Фут был интервьюером, а я давал интервью, естественно, о том, как новая газета будет разоблачать антисемитскую политику советского правительства.

Изо дня в день темы углублялись, мы говорили о штатах будущей газеты, о ставках, о ее корреспондентах: у Фута, когда он окончательно просыпался, разыгрывалась буйная фантазия. Особенно он донимал меня своей будущей ставкой и требовал, чтобы весь текст своих ответов я заучил наизусть. Для этого я переписал их на последних страницах толстой тетради. Первая половина была невинным русско-английским словарем, последние три страницы — моя страстная речь перед западными корреспондентами: "Евреи не могут спокойно спать, пока существует Кремль".

В ночь перед отъездом я произвел генеральную чистку своих чемоданов, выбросил учебник иврита "Элеф-милиим", с помощью названий московских универмагов закодировал две записные книжки с адресами будущих вызовов и даже выдрал из общей тетрадки составленный мной и Футом англо-русский словарь.

Чистка и кодировка продолжалась много часов подряд и кончилась где-то к пяти утра. Я валился с ног от усталости, и только этим объясняю, что моя будущая речь насчет того, что, пока существует Кремль, евреи не могут спокойно спать, — так и осталась нетронутой.

О моем состоянии в момент, когда я увидел это произведение в руках проводящего досмотр лейтенанта ГБ, я представляю догадаться читателю. Лейтенант долго и с олимпийским спокойствием изучал мою речь, потом знаком руки предложил приостановить досмотр. Появился подполковник, который, куда-то позвонив, вообще не стал читать речь, а, положив ее в ледериновую папочку, скрылся в неизвестном на-

правлении. Он отсутствовал полчаса, а может быть, час — ибо время для меня уже перестало существовать, а существовало лишь расстояние между кучей развороченных чемоданов (на которых сидели, кроме моей жены и дочери, еще и семидесятипятилетний папа и шестидесятипятилетняя мама) и дверью, за которой скрылся с ледериновой папочкой под мышкой подполковник ГБ. Какими словами я в это время называл себя и каким взглядом смотрела на меня жена, я предоставляю опять же догадываться читателю.

Девятилетняя дочь безуспешно пыталась схватить за хвост неизвестно откуда вынырнувшую кошку. Мать, страдавшая астмой, тяжело дышала в инголятор. Спокойней всех вел себя мой папа, который, усевшись на один чемодан и опершись галошами о другой, сладко задремал. Но, к его чести, при появлении подполковника с ледериновой папочкой под мышкой он сразу же проснулся и поинтересовался, не прибыли ли мы еще в город Вена. А когда узнал, что не прибыли, пристал вдруг к подполковнику, не знает ли тот, где можно купить сегодняшнюю "Правду".

Подполковник, по-видимому уже получивший определенные инструкции, даже не взглянул на папу и приказал лейтенанту продолжить досмотр. Папа хотел задремать снова, но именно это обстоятельство почему-то и переполнило чашу терпения подполковника. Он криво усмехнулся и сказал: "Спать будете на исторической родине". Слова эти для меня были как свет в окошке, ибо, как бы не разворачивались дальнейшие события, я понял, что меня ждет не Потьма, а Израиль.

Подполковник спокойно и с каким-то чувством государственного достоинства порвал мою историческую речь. Мама воскликнула: "Правильно! Очень правильно, товарищ полковник, я даже могу вам помочь". Подполковник и ее не удостоил внимания, он повернулся ко мне и, чеканя каждую фразу, как завещание для всей моей будущей жизни, произнес: "А вам, гражданин Перельман, я хотел бы посоветовать изменить свое отношение к вопросам выезда!" И уже, не обращая внимания ни на кого из моей семьи, крикнул какой-то полногрудой блондинке в летной форме, выросшей у наших

чемоданов: "Давай, Петрова, можешь принимать". В свою очередь Петрова набросилась на нас: "Вы что же это, граждане, думаете самолет вас одних будет ждать, ишь расселись. Гражданин, гражданин!" — стала она снова теревить заснувшего папу — папа открыл один глаз и спросил меня: "Это что, уже Вена?"

Но теперь даже я не удостоил его ответом, а приподнял с чемодана и взял его под руку. В другую руку взял другой чемодан, а двумя пальцами той же руки подхватил третий. Папа оперся на палку, жена водрузила на себя три тюка. Дочка, поймав наконец кошку, с плачем вынуждена была ее отпустить и, схватив свой портфель, поплелась за нами. Время, как мы добирались до самолета, провалилось в моей памяти. Кажется, мы были единственными гражданами еврейской национальности в его битком набитом салоне, что и обеспечило нам соответствующее отношение экипажа и всех прочих пассажиров, воспитанных в духе дружбы и равенства между народами.

ШИНАУ

Ах Вена! Вена! Как много в этом звуке для сердца моего слилось... Да, уважаемый читатель, я позволил себе некоторое отступление от текста, ибо текст в те дни мне был вообще ни к чему. А нужна лишь была музыка пушкинского стиха, чтобы выразить нахлынувшие эмоции. Тогдашние — не теперешние. Теперь, постаревши на десять лет, я сижу за машинкой и, упершись взглядом в дом своего американского соседа Винограда, пытаюсь воссоздать поэзию прошлого. Дом этот вносит в мою душу покой и скуку, как маленькие облачка, медленно плывущие над Леонией. Что видел в своей жизни американский еврей Виноград? Каждое утро он стряхивает пылинки со своей новой "Субары", которую я, выезжая из гаража, едва не разбил.

По викендам к нему съезжаются родственники со всего штата Нью-Джерси. Говорят, он дельный биз несмен и примерный семьянин, и всякий раз, когда я его встречаю с дымящей-

ся в зубах сигарой, то думаю о своей тихой и благополучной старости.

Десять лет отделяют меня от того ослепительно-солнечного дня, а постарел я, словно на век: иллюзии и крушения, превратности эмигрантской судьбы!

А все, в сущности, началось в тот день: "Ах Вена! Вена!.." Кто знает, может быть, и не надо было менять текста. Все, в конце концов, зависит от слов. Музыка легка и обманчива — тексты остаются на всю жизнь.

...По залитой январским солнцем Вене медленно ползет мини-автобус австрийской службы безопасности. Спереди и сзади вооруженные мотоциклисты на случай непредвиденных террористических актов. Во всем автобусе всего лишь три еврейских семьи, решивших воссоединиться со своим народом в государстве Израиль.

Впрочем, сам акт воссоединения произойдет еще через несколько дней, когда самолет израильской авиакомпании "Эл-Ал" доставит их в тель-авивский аэропорт Луд. А пока что мини-автобус австрийских сил безопасности везет их через всю Вену в древний австрийский замок Шинау, обозначенный в документах Сохнута как транзитный лагерь репатриантов, переправляемых из Советского Союза в Израиль.

Три московских семьи — это, во-первых Эзахил Коршенбойм, полнеющий, седовласый с очень молодым лицом профессор финансов и бухучета Московского плехановского института. Эзахил, или просто Хилл, с которым мы познакомились еще в московском ОВИРе, выглядит стопроцентным европейцем, на нем велюровая шляпа из валютного магазина, австрийский плащ, из-под которого выплескивается чудесное серебристое кашне, в его руках — японский зонтик. Рядом с Хиллом — его вызывающе красивая жена — инженер-экономист Люда. На коленях Люды — их десятилетний сын Рома, а по другую сторону сиденья папа Хилла, в прошлом — ответственный работник министерства путей сообщения, — тоже в шляпе и тоже в плаще, но уже без хилловского блеска — низенький (так что ноги свисают над полом), определенно чем-то недовольный — из тех пап, что учат вас жить до последнего своего вздоха.

Пусть читатель простит мне эти длинноты, — все это ружья, которые в свое время выстрелят, а пока что пойдём дальше. О моей семье уже кое-что известно из очаровательной сцены в таможне, скажу лишь, что папа по-прежнему не расстается с галошами и что, окончательно проснувшись в Вене, он что-то упорно высматривает в окне.

На заднем сиденье моя однокашница по полиграфическому институту и до последнего времени преподавательница кафедры редактирования и стилистики того же института Красовицкая-Шуруева. В связи с намечавшейся репатриацией на историческую родину редактирование и стилистика ей стали как-то ни к чему, и вместе со своим мужем она все последнее время "энергично закупала антиквариат.

Кроме антиквариата и мужа Красовицкая-Шуруева везла сына, дочь и четырех пучеглазых карликов-пикинезов: Гошу, Фросю, Дмитрия и родившуюся перед самым отъездом Софию. "Буду разводить собак, едрена мать! — приговаривает она на всем пути. — А вы, что собираетесь делать?" — обращается она к красавцу Хиллу. "А я — профессор, — отвечает Хилл, — профессор бухучета, — может быть, вы слышали такую специальность?"

Я не видел ее со дня окончания института: пухленькая куколка с широко раскрытыми глазами несколько раздалась в габаритах, что, впрочем, ничуть не уродовало ее, а, напротив, придавало определенный шарм. Как, впрочем, и не выпускаемая изо рта сигарета и чуть хрипловатый басок, которым она иногда позволяла себе не совсем печатно выразиться.

Судя по тону, Хилл не преувеличивает шансы своего профессорского будущего — он едет, потому что его пригласил миллионер дядя. Приглашение свое дядя оговорил пустячным условием — он даст Хиллу все, что тот захочет, но ехать Хилл должен именно в Израиль.

Ну вот, собственно, и весь автобус, пассажиры которого, припав лбами к окнам, молчат и любуются красотами Вены, предвкушая встречу с замком Шинау.

По словам Хилла, здесь когда-то устраивали пиры разорившиеся Габсбурги. Мне об этом ничего не известно, зато

"Литературка", еще в мою бытность специализировавшаяся на ужасах земли обетованной, называла Шинау осиным гнездом Си-ай-эй, обнесенным колючей проволокой. Может быть, читатель помнит из моих прошлых книг, что автором этих материалов был наш ответственный секретарь Гиндельман-Горбунов, которого во всех его венских поездках сопровождал "журналист-гебешник Гудков".

В Доме журналиста, когда мы все спрашивали, ну, как там было в Вене, Гиндельман уже не решался нести своей ахинеи про Си-ай-эй, а, напившись, однажды договорился до того, что за колючей проволокой прячутся девочки из венских бардаков и одна пригласила туда даже его, Гиндельмана, и он бы, может, и пошел, если бы не эта гебешная сука Гудков...

Я тоже глазел на Вену, на ее корчмы и ресторанчики и рисовал в своем воображении замок Шинау, с Габсбургами, с гиндельмановскими девочками... и с какими-то совершенно загадочными и прекрасными евреями, которые станут читателями моей будущей газеты. О, чудо цивилизации! Еще утром меня могли сграбастать и за какое-то невинное интервью заслать куда-нибудь в Потьму, меня могли назвать жидом и сионистом, избить, оставив от меня мокрое место, а теперь я еду в замок Шинау, где Габсбурги устраивали свои ночные кордебалеты с венскими заочницами и где меня ждут читатели моей газеты.

Я даже, может, сам устрою пресс-конференцию, прямо там, в Шинау, хотя, может быть, она и не соответствует плану этого еврейского квазимоды из израильского МИДа или разведки, который встретил меня в венском аэропорту и о котором я хотел бы сказать несколько слов.

Тогда я даже не знал его имени, а образ его и по сей день двоится в моих глазах. Тот, первый, когда он поднялся из-за столика в кафе венского аэропорта и, крепко пожав мне руку, спросил: "Послушайте, Виктор, ну, как там ребята?" и другой, уже известный мне по имени — Нехемия Гидрон, — но не по должности, с должностью его всегда творилась путаница: то ли начальник восточно-европейского отдела минис-

терства иностранных дел, то ли замминистра, то ли начальник русского отдела разведки — никто никогда не знал его должности. Он был Нехемией, и все остальное проистекало от этого: "Нехемия не советует", "Нехемия воздерживается", "Нехемия против". Случалось это обычно тогда, когда я что-то советовал, что-то предлагал, на чем-то настаивал. Да, он был заведующий русскими делами в Израиле, но не из тех, кто выступал на мировых сионистских конгрессах и был членом всемирных правлений и исполкомов. Я уже давно знаю, что те, кто выступают и являются членами, равным счетом ничего не значат. Если хотите что-то понять в политике, не теряйте зря времени в залах, присядьте лучше за столик к тем, кто неслышным голосом воркует и что-то советует. Хотите знать, почему провалилась алия в Израиль, — выкиньте в помойку сохнутовские протоколы, поезжайте в Галиль, в кибуц, к Нехемии и потолкуйте с ним за чашкой кофе.

О причинах ее провала вы вряд ли узнаете, но хоть будете иметь дело с осведомленным человеком.

Да, я забегаю вперед, потому что в то утро, когда мы сидели в венском аэропорту и я уговаривал папу снять наконец галоши, — так вот в это утро, примерно через час после прилета, ко мне подошел старый еврей с рукояткой нагана, торчавшей из кармана его брюк и сказал: "С вами хочет поговорить ваш главный, он ждет вас на веранде, в кафе", И когда Нехемия с отцовской улыбкой вышел ко мне навстречу из-за столика, то в это утро, повторяю, я даже не знал, кто это, я только отметил про себя: до чего ж некрасив!

Надо же, чтобы природа так бестактно обошлась с этим человеком, он был похож на Квазимоду, но только чуть повыше и полобастее Квазимоды. Но, когда после всех этих сорочкиных, чаковских, леонтиев кузьмичей, ликовенковых, вы встречаете своего родного еврейского Квазимоду, он может показаться вам прекраснее Аполлона.

Нехемия смотрел на меня из-под гигантского лба, придавившего даже брови, таким дружеским, таким понимающим взглядом, что я невольно поймал себя на мысли: а не пришел ли мой звездный час, не заговорить ли наконец о газете? Вот в

этот момент он мне и задал вопрос, который запал мне в самую душу: "Послушайте, Виктор, ну, как там ребята?" Мне даже не надо было думать над ответом: "Они пойдут за Израиль на баррикады!" Он благодарно взглянул на меня, отпил глоток кофе и снова окинул меня внимательным взглядом: "Вы что, простужены? Надо себя беречь". И без всякой связи с предыдущим:

— А почему вы думаете, что нам нужны баррикады?

— Но за евреев надо бороться, — не уступал я. — Советские власти вот так, просто вам отдадут свои лучшие мозги?

— Мозги? А почему обязательно мозги? Нам нужны обыкновенные, хорошие евреи, — не спускал он с меня дружеского взгляда, — вот вы сейчас едете в замок Шинау, думаете там одни профессора?

Он снова отпил глоток кофе и спросил о моих собственных планах и, не дожидаясь ответа, сказал: "Ну, во-первых, принять аспирин, с гриппом нельзя шутить". — "А во-вторых, — неожиданно решился я, — не думаете ли вы, что нам нужна газета, международная еврейская газета на трех языках?" Он молча пил кофе. "Что, не осилим? Да вы знаете, какие там люди остались, — готовые члены Кнессета!" Он энергично кивнул головой и вдруг засмеялся, обнажив два ряда крепких белых зубов: "А что, Виктор, это мысль, обновить состав Кнессета! Старики мы стали, Виктор, старики! Кстати, я хотел дать вам совет, ваше дело прислушаться или нет, но я его дам, — и, заговорщически приблизившись ко мне, словно опасался, что кто-то из окружающих тоже может воспользоваться им, негромко, почти шепотом сказал, — Виктор! Учите иврит!" Я ничего не понимал: каким-то странным образом мы ушли от газеты, я хотел спросить: "Ну а как же с газетой?" Но вместо этого сказал: "Да, да, я понимаю вас, я очень хорошо понимаю, я уже прошел первую книжку "Элефмилиим", ведь третий язык газеты — иврит".

"Вот именно, иврит, иврит и еще раз иврит, помните Ленина?" — улыбнулся он и крепко пожал мне руку.

...К воротам замка мы вынырнули неожиданно, охранники долго проверяли наши визы и особенно долго визу Кра-

совицкой — на визе красовалась куколка институтских лет. Затем въехали во двор и стали сгружать чемоданы. Замок представлял собой странного вида деревянную постройку (неизвестно, сколько было в ней этажей), настолько старую и бесформенную, что казалось архитектор специально лишил ее всяких пропорций. К складу, с ключами в руках, подошел какой-то старый еврей и спросил, все ли говорят на идиш. А когда узнал, что нет, не все, позвал другого, помоложе, по имени Хаим, который оглядел всю нашу компанию и, найдя достойным своего внимание одного лишь Хилла, спросил его:

— Вы говорите только по-русски?

— Да, извините, мы предпочли бы именно этот язык.

— Ну тогда сдавайте все в махсан и на цахорайм!

— Простите, что вы сказали?

— Не знаете, что такое цахорайм? — удивился Хаим, — да у нас любой мильцар это знает — пожрать-покушать, вот что это значит, и, почувствовав, что с нами ему придется тяжело, уже почти взмолился: — Товарищи, а может, кто-нибудь сечет на идиш, вот вы, товарищ, обратился он вдруг к папе Хилла — ду бис аид?

— Аид, аид! — ответил папа. — Но давайте все-таки по-русски.

Из замка вышла женщина в узбекском халате и буцах и тотчас приковала к себе наше внимание, даже не столько она, сколько голый ребенок у нее на руках, который во всю мочь горланил и изо всех сил пытался вытащить из-под ее халата грудь. В подол халата вцепились еще трое — все со спущенными штанами и с апельсинами в руках.

Поднявшись по темной лестнице, мы оказались в длинном, с разбитой лампочкой коридоре. Миновав его, мы под предводительством профессора Коршенбойма, который даже не успел снять своей велюровой шляпы, оказались в большой столовой. На столах стояли огромные, испускавшие клубы куриного пара жбаны, из которых обедавшие большими половниками черпали суп, а из других — чуть поменьше — накладывали вермишель и гуляш, заливая все это краснобурым соусом.

Столовая была набита битком, лиц видно не было, все припало к тарелкам, сверху торчали одни ватники и тюбетейки. Стоял крик. Кричали на языке, которого я никогда в жизни не слышал. От жары и куриного пара нечем было дышать, но, похоже, кроме нас, этого никто не чувствовал, все склонились к тарелкам и быстрыми ловкими движениями опустошали их.

Первым нарушил молчание Коршенбойм-папа, который едва слышно спросил: "Хила, ты мне можешь сказать, куда ты меня привез?" На что Хилл так же негромко, но гораздо более язвительно ответил: "Папа, я привез тебя туда же, куда я привез себя!" — "Хиля, но кто эти люди и где здесь вообще евреи?" — "Папа, я это знаю так же, как и ты". — "Но это же хер знает что, — вдруг возмутилась Красовицкая, — какой-то хазарский каганат". — "Что вы сказали, — хамство?" — никак не мог успокоиться Коршенбойм старший. Но к этому времени освободили стол и официантка — почему-то в мужской тюбетейке с выпущенной из-под нее косой до пояса — тряхнула по столу полотенцем, притащила еще один жбан и гуляш, затем, положив перед каждым по апельсину, скрылась на кухне.

"Арагви", — мрачно пошутил Хилл и, сняв наконец велюровую шляпу, стал искать место, куда бы ее пристроить, но так и не найдя, пристроил между колен вместе с японским зонтиком.

В разгар обеда появился маленький веселый, с очень добрым лицом человек, назвавший себя представителем Сохнута Моше и тотчас пожелавший всем приятного аппетита. Затем, энергично потирая руку об руку, попросил никого не волноваться. С койками в замке может возникнуть проблема в связи с массовым наплывом репатриантов из южных республик СССР. "Будем живы — не умрем!"

— Но на чем-то все-таки нам спать надо! — воскликнул Хилл хорошо поставленным лекторским голосом.

— Хиля, что он тебе сказал, что? — не отставал от Хилла папа, по-видимому не отличавшийся хорошим слухом.

— Он говорит, папа, что тебе не на чем будет спать, — тем же лекторским голосом пояснил Хилл.

— О, что вы! — воскликнул Моше. — Койка найдется для каждого. Просто, может, будет не совсем удобно, — улыбнулся, он, чувствуя, что профессор с велюровой шляпой и японским зонтиком может еще и не то сказать. — Зато среди своих! — продолжал Моше, — в тесноте, да не в обиде. Одни евреи... Вы когда-нибудь видели столько евреев?

— Что он сказал? — снова приставил ладонь к уху Коршенбойм старший.

— Он сказал, папа, что здесь одни евреи.

— Блядство! Какое блядство, — возмущенно басила Красовицкая и поочередно целовала Тимофея и Фросю.

— Вы сказали — "бардак"? — не расслышал ее папа Коршенбойм. — Хиля, но ведь мы можем не согласиться в конце концов!

— Папа, мы все можем, — ответил уже увядшим голосом Хилл. — Мы даже можем пожаловаться в главное аптечное управление при Венгорисполкоме.

— Так что, друзья, тронемся! Поищем, где утомленному есть чувству уголок! — сказал Моше из Сохнута. И вся наша компания вышла вслед за ним все в тот же длинный коридор с разбитой лампочкой. Он шел впереди, за ним Хилл, за Хиллом все остальные. Мы заглядывали в комнаты. Они были набиты людьми и мешками. Некоторые спали, открыв рты и громко храпя, — прямо в ватниках и тюбетейках, в неразобранных постелях, на нарах, которые стояли друг над другом по три, как в корабельных каютах. Некоторые чистили прямо на пол дивные красные апельсины. На нас никто не обращал внимания.

Мы, наверное, обошли комнат десять, но на свободные места не было и намека.

— Поднимемся, друзья, этажом выше, — не унывал Моше. — Главное, что кругом свои — братья. Нет, действительно, вы видели когда-нибудь столько евреев?

— Простите, пожалуйста, Моше, — перебил его Хилл, — не скажете ли, в каком из этих апартаментов почивали Габсбурги, — может быть, вы устроите нас туда?

— А вот и комнатка! — воскликнул Моше, сделав вид, что вообще не услышал сказанного Хиллом. Он вошел в за-

куток, на верхней из трех коек кто-то тяжело храпел, две других были пустыми.

— Только через мой труп, — сказала Красовицкая. Фрося залилась лаем, фигура, лежавшая под потолком задвигалась. Моше сказал: "Тс-с-с". А Хилл, устало положив на койку велюровую шляпу и зонтик, вдруг заявил: "Не знаю, кто как, а мы с Людой остаемся здесь".

Дальнейшее устройство пошло быстрее: моих папу и маму уложили напротив, жену с дочерью где-то под лестницей. Последней сдалась Красовицкая, долго не соглашавшаяся на соседство с официанткой в мужской тубетейке.

Гоша с Тимофеем не умолкая лаяли, но вот и они затихли. Я попросил у Моше место в конторе. Я вез с собой семьдесят две фамилии для вызовов, и к утру всем семидесяти двум счастливым вызовы были посланы.

На этом, пожалуй, закончу свой и без того растянувшийся рассказ о замке Шинау, ибо не нужно особой фантазии, чтобы представить, как мы провели в этом очаровательном уголке мира остальные двое суток, пока не сформировался экипаж для пятисотместного "Боинга", летящего из Вены в Тель-Авив.

А что же с моими спутниками? Ну, например, с Красовицкой-Шуруевой? Как ни странно, но страсть к непечатному слову ничуть не повлияла на ее карьеру западной бизнесменши. Она великолепно продает и покупает дома и говорит исключительно по-английски. Правда, при желании выматюгаться максимум, что она может себе позволить, — это "I am very sorry. I am very, very sorry".

И к Хиллу я еще вернусь: читатель, возможно, догадывается, что в поисках средств на свою сионистскую газету я не смогу обойти его мультимиллионера-дядю, поджидавшего его в те дни в Израиле. Но об этом чудесном эпизоде моей жизни опять же речь еще впереди.

С самим же Хиллом, профессором финансов одного из нью-йоркских колледжей, мы не перестаем дружить и часто, как теперь принято говорить, общаемся домами. А встретившись, слегка выпиваем, ну а выпив, нет-нет, да и вспомним блаженной памяти дни нашего пребывания в Шинау.

Женщины наши ничего путного вспомнить не могут — одни охи да ахи: кто бы мог подумать, что это были евреи? "Как они были одеты, — это же просто ужас!" — темпераментно восклицает в простоте душевной Люда. На что Хилл своим хорошо поставленным лекторским голосом возражает: "А почему ты, Люда, думаешь, что это были именно евреи?"

— Ну а кто же, Хиля, узбеки? По-моему, тебе просто хватит пить!

— И не просто узбеки, а узбеки особого назначения, — не моргнув и глазом, продолжает Хилл. — Ты не видела, а я видел, как мой сосед переодевался. На нем был китель старшего лейтенанта КГБ. Почему ты себе не можешь представить, что КГБ забросило в Шинау отряд специального назначения? Чтобы дискредитировать одних советских евреев в глазах других.

— Ну ты подумай! Знаешь, Хиля, ты пей, да знай же меру! — весело стучит кулаком по столу Люда.

— Нет, я не смеюсь, я совершенно серьезно, — продолжает Хилл. — Вы даже не знаете, что у меня до сих пор хранится тот японский зонтик. Без него меня просто бы не приняли в Шинау. А шляпу мне тоже продало КГБ, чтобы вызвать зависть у одной группы советских евреев по отношению к другой...

ИЗРАИЛЬ

13 января 1973 года, примерно в девять вечера, приземлившись в тель-авивском аэропорту Луд, я совершил алию в Израиль и воссоединился со своим народом.

Строго придерживаясь фактов, необходимо отметить, что я это сделал не только с женой и девятилетней дочкой и не только сопровождаемый престарелыми папой и мамой, но и вместе с пятьюстами обитателями замка Шинау. Теперь это были пассажиры того же самого "Боинга" авиакомпании "Эл-Ал", который всех нас за четыре с половиной часа доставил из Вены в Луд.

Увидев в иллюминаторы огни Тель-Авива, мои национальные братья из южных республик СССР стали плясать на креслах и издавать крики, которые я ни в коем случае не хотел бы

сравнивать с ритуальными возгласами дикарей, но которые, с другой стороны, как-то не увязывались с моими представлениями о встрече с национальной родиной.

Встреча эта мне представлялась почему-то тихо-торжественной, как некое волшебное действие, призванное отделить все прожитое мной в прошлом, все суетливое и несправедливое и потому приговоренное к забвению, — все это должно было кануть в Лету, тотчас, как откроется моему взору земля обетованная.

Взору моему открылась беспорядочная масса огней, вырвавшихся из тьмы. В ушах гремели восторженные крики моих братьев, а в душе творилось нечто такое, чему я никак не мог найти объяснений. Я совершал, если даже не самый благородный, то уж во всяком случае самый логичный шаг в своей жизни, ибо все написанное и сказанное мной в последние месяцы сводилось к одной, пусть тавтологической, но от этого ничуть не менее разумной мысли: "Я —еврей и потому должен жить со своим еврейским народом". И вот теперь, когда эта прекрасная в своей логической гармонии идея должна была осуществиться, я вдруг задумался над ее смыслом: а что это, собственно, значит — жить со своим народом?

О том, что я прибываю в Израиль, каждый час, ссылаясь на сообщения агентства "Ройтер", передавали западные радиостанции. А фамилия моя неизменно сопровождалась словами как о моем прошлом (редактор "Литературной газеты"), так и моем настоящим ("известный борец за еврейскую эмиграцию"). Мне нравилось именоваться борцом. Во всяком случае куда больше, чем редактором "Литературной газеты", звание которого, пока я летел, мне присвоили корреспонденты "Ройтер".

Я писал одно за другим письма, в которых требовал отпустить народ мой в Израиль. Моя статья "Размышления перед аукционом" появилась даже в "Нью-Йорк Таймс". Одновременно со мной по каналам Голландского посольства шла моя рукопись о Боге проклятой и покинутой мной России. Я мечтал создать в Израиле новую еврейскую газету и не чувствовал лишь одного: что вместе с этими бес-

конечными письмами и статьями, сделавшими меня "известным борцом за алию", я все более отрываюсь от реальной жизни и начинаю жить в мире текстов. Тексты не могли стать реальностью, но реальность исчезла, а тексты оставались и уже сами начинали казаться реальностью.

И вдруг при виде огней Тель-Авива я почувствовал, что эта происшедшая во мне метаморфоза каким-то фантастическим образом начинает давать обратный ход: тексты переставали чего-то стоить, а реальность меня все меньше прельщала. Во мне что-то решительно бунтовало против нее, как бунтовал я сам когда-то в детстве, когда нянька вдруг прерывала одну из своих сказок, которые я обожал, и требовала, чтобы я расстегивал подвязки и немедленно шел в постель. Эти дурацкие подвязки, замещавшие в моей голове героев нянькиных сказок, возмущали меня более всего...

Впрочем, бросая взгляд в прошлое, взгляд сегодняшней, и потому не лишенный цинизма, я, кажется, все упрощаю и валю в одну кучу ("реальность", "родина", "подвязки") и вытаскиваю на свет Божий то, что было скрыто глубоко в подсознании и в чем в ту ночь я никогда не признался бы даже себе. В подсознании, может, я и бунтовал — но мало ли что делается у нас в подсознании, где вместе с подавленным фрейдовским либидо, придавлено, пришито, словно бабочка иглою, наше вечно не смеющее шелохнуться "я".

Так вот, когда из тьмы вырвались огни Тель-Авива, я почувствовал, что во мне зашевелилось нечто такое поэтично-торжественное, чего я и не мог попытаться выразить словами: я воссоединялся с собственным народом, и душа моя не могла не вытянуться в струнку перед торжественностью момента.

Несмотря на пляски и крики вокруг, усталый от полета отец блаженно дремал, мать осененно улыбалась, а на глазах жены я вдруг увидел слезы, и я ничуть не был бы удивлен, если бы и на моих глазах выступили слезы, но глаза мои были абсолютно сухими.

...А действие между тем развивалось с быстротой летящего на бреющем полете "Боинга". Вот-вот он коснется земли, и удар его колес об эту землю станет для меня новой

точкой отсчета. Если и мог быть в моей жизни исторический момент, то вот он: момент приземления в тель-авивском аэропорту Луд.

Я всегда презирал в себе страсть фантазировать, но никогда у меня не хватало сил подавить ее. Фантазия — сколь ни была бы страстной жажда воспарить — это всегда штампы. А жизнь — это всегда рутина. И я не знаю, как их соотносить. В Луде не было ни цветов, ни грома фанфар, ни тихо-торжественных слов приветствия, а была лишь пахнувшая в лицо духота и выплеснутая "Боингом" на летное поле толпа — с чемоданами, мешками, кошелками и Бог знает с чем — растянувшаяся от трапа "Боинга" до входа в небольшое деревянное строение, где шел прием новоприбывших в Израиль. Толпу встречали какие-то суевающиеся на летном поле люди и на ходу что-то выясняли, и пытались навести хоть какой-то порядок в этом вывалившемся из самолета людском балагане. "Товарищи, граждане, евреи из СССР! Не устраивайте толкучки. Это же вам не Советский Союз", — все это слышу я, входя в деревянное здание. Вдоль стен — длинные столы с кипами бумаг, за столами — мужчины и женщины с усталыми и теперь уже совершенно стертymi для меня лицами. Столы разбиты по буквам и уставлены жиденскими, в бутылках, цветочками, У столов толкотня, каждый рвется быть первым. "Да куда же вы давите, граждане, евреи!.." "Товарищ грузин, не хулиганничайте, а то позовем полицию! Ишь, театр устраивает!"

Но все это был еще не театр, а только фойе. В фойе, у столов с жиденскими цветочками, каждому выдается сто лир и каждый подписывает вексель. Что эти сто лир выдаются в долг — о чем написано на иврите — никто, разумеется, не имеет понятия. Подписывают, потому что так полагается, а именно, что с этой минуты имярек должен государству Израиль столько-то за билет, столько-то за багаж, столько-то за его страховку, столько-то за это, столько-то за то...

Признайтесь, уважаемый читатель, интересно вам? Я бы и сам опустил все это и тотчас перенесся бы в Тель-Авив, поверьте, у меня есть еще, что вам рассказать про мою новую

родину. Но я просто не вправе опустить этот исторический момент, несмотря на страшный гам, духотищу и балаган в деревянном зале. К тому же и положение у нас с вами совершенно разное. Вы можете взять и закрыть, чертыхнувшись, книгу и выйти вовсе из этого театра, а куда деться мне с женой, с ребенком, со старенькими папой и мамой, совершившими вместе со мной эту одиссею?

Из фойе — единственный выход в театр. А театр — это вовсе и не театр, а дощатая кабинка, где решалась судьба новых жителей Израиля. В кабинке командовал человек с прибалтийским акцентом, лица которого я не видел. "Я ж сказал, что нет Тель-Авива. Подпишешь или нет? Не желаешь Кирьят Шмоне — сиди до утра! Следующий! Хайфа говоришь? Мама себя плохо чувствует? Ну, знаешь, друг, здесь все евреи! Может, все хотят в Хайфу. А вот нет Хайфы, а есть Афула! Не хочешь Афулу — сиди до утра!.."

Я дал интервью корреспонденту "Голоса Израиля" и вошел в театр-кабинку последним. Передо мной сидел рыжий с бычьей шеей лысеющий человек. Я хотел бы, читатель, чтобы вы запомнили эту фамилию (которую, впрочем, я и сам узнал много позже), так вот — Моше Гоц. Вы, конечно, слышали Бен-Гурион, Голда Меир, Моше Шарет, Хаим Вейцман, Даян, Бегин, Сапир... Так вот, все они были никто рядом с рыжим рижским евреем Гоцем, подле которого висела огромная карта Израиля с горящими лампочками — центрами абсорбции, куда направлялись новые олим. Да, читатель, я ввожу это слово именно сейчас, познакомив вас с рыжим Гоцем. "Оле" — происходит от слова "алия". "Алия" — это восхождение наверх, в Израиль, в Иерусалим, это подвиг возвращения и, следовательно, новый оле — это подвижник. По этому поводу за столом с цветочками ему выдано даже специальное удостоверение "Теудат оле" — удостоверение подвижника, вернувшегося в Израиль. Вот это удостоверение я и предъявляю рыжему Гоцу. Второй час ночи. Гоц явно устал и рвется упростить процедуру: "Фамилия? Имя? Имя отца? Год рождения? Образование? Диплом?" — "У меня нет диплома. Отобрали. Вы разве не знаете? Но у меня действи-

тельно высшее образование. Я даже в "Нью-Йорк Таймсе" писал против выкупов!"

Судя по скепсису, проснувшись на его лице, я чувствую, что Гоц слышал и не такое. Он молча извлекает из ящика бумагу и дает мне подписать, что я, новый оле такой-то и такой-то, "настоящим удостоверяю, что действительно во время проживания в СССР окончил институт, и прошу Сохнут отправить меня в центр абсорбции для академиков и что в случае, если при проверке соответствующими органами мои показания окажутся ложными, я буду отвечать перед судом по всей строгости закона". Я подписал этот документ. (Сколько еще на Западе мне придется подписывать бумаг о моей готовности идти за решетку!) Но эта была первой и потому я запомнил ее, хотя и плохо понимал, что это такое — центр абсорбции академиков, куда попадали только прошедшие через сито рыжего Гоца.

Дальше у нас пошло все проще.

— Куда хотели бы поехать? — спросил он. "Опять в Тель-Авив?" — прочитал я в его сардонической улыбке. "А вот нет Тель-Авива, а есть Афула!"

— А мне, собственно, все равно, посылайте туда, куда требуют интересы Израиля, — сказал я.

— Интересы кого? — медленно соображал Гоц, оглядывая меня подозрительным взглядом. "Это еще что за хохом?", — читал я в его глазах.

— Интересы Израиля, — ответил я.

— Вы кто-журналист? — переспросил меня Гоц, — тогда пошлем в Ашкелон.

— А где это, Ашкелон? — теперь уже спросил я.

— А вот тута, — ткнул Гоц в карту, — морской курорт, пятнадцать минут езды от Тель-Авива.

Еврейский Бог — самый справедливый и грозный Бог на свете. За добро он воздаст добром, но не так-то легко прощает зло, нанесенное евреям.

Впрочем, никто не знает, когда раздастся гневное Божие слово. Не знал этого и рыжий Гоц, не знал, что спустя многие годы — уже кончилась алия, и евреи уже давно ехали в Амери-

ку — придет он на прием к моей жене в поликлинику Неве Шарет — старый толстый еврей, в котором жена вначале не узнает и вовсе всевластного заместителя Сохнута в Луде. Она попросит толстяка раздеться и увидит его тело, дряблое, большое тело диабетика, исколотое инсулином и обсыпанное множеством фурункулов. Она откроет карточку больного и прочтет фамилию Гоц и не выдержит, напомним ему, как он мучил новых граждан страны...

Гоц страшно смутится и скажет, что на свете нет тяжелее работы, чем с новыми олим и лично для него не было страшнее времени, чем то, когда он сидел в Луде, что там-то он и заболел диабетом и вот теперь уходит на пенсию. Кто знает, может, и была своя правда в его, Гоца, словах, — но еврейский Бог не простил ему зла, нанесенного евреям, хотя и отправлял он их в центры абсорбции для "академиков".

Я не знаю, сколько мы тащились до Ашкелона почти в таком же, как в Вене, мини-автобусе — за рулем сидел грузин, не проронивший ни слова и лишь, когда в третьем чаеу ночи добрались, воскликнувший: "Эй, в автобусе, выгружайсь!"

Итак, шел третий час ночи и сторож, еврей из Марокко, неизвестно куда запропастился — к тому же он не знал ни идиш, ни русского, ни английского и со сна вообще не мог понять, что от него хотят. Потом отвел нас в какой-то утлый из досок домишко, где к утру от холода зуб не попадал на зуб.

Утром кто-то решительно постучал в дверь — это была Красовицкая. Она ежилась в своем каракулевом манто. "Ну как вам историческая родина? Не знаю, как вы, а мы сегодня же отсюда уебываем!" Потом позвали в столовую, мы ели яйца, помидоры и творог.

К полудню погода разгулялась, над морем играло солнце, а по аллеям прогуливались "академики", старые евреи с палочками, а также не очень старые. Крутились под ногами внуки "академиков". Были тут и явные заочницы, стрелявшие по сторонам крашеными еврейскими глазками. Все говорили о своем ("ах, какие яички, какой творог, попробуйте это достать там!"). Заочницы, не переставая стрелять глазками, хвастались друг перед другом туфлями-лодочками, купленными уже на исторической родине. Были среди них две хорошень-

кие продавщицы из Черновицкого торгова, которые весело чирикали с нами за столом, была молодая зубная врачиха, которая тут же сообщила, что намыливается в Германию.

Солнце уже шпарило во всю, и у всех было прекрасное настроение, привезли газеты и среди них две русских: "Наша страна" и "Трибуна". Под гигантским заголовком "Трибуны" мелкими пляшущими буквами было написано, что это единственная и беспартийная газета на русском языке, а сверху, над заголовком мощно красовалось: "Известный борец за алию Виктор Перельман в беседе с корреспондентом "Голоса Израиля" сказал: "Евреи не могут спокойно спать, пока существует Кремль".

Тексты явно не хотели оставлять меня...

В тот же день вечером к нам приехал неожиданный гость, представившийся корреспондентом газеты "Едиот Ахронот" Довом Шамиром. Он даже не вошел в наш крошечный коттедж, а тотчас, как появился, решительно заявил, что забирает меня с женой и дочерью к себе. Захваченный вихрем событий, я вдруг почувствовал, что теряю способность сопротивляться — настолько все выглядело фантастическим — и это наше приземление в Израиль, и этот выросший из-под земли Шамир из "Едиота Ахронота", и его нависшая над морем двухэтажная вила с шумом прибоя, и особенно то, о чем говорил Шамир. А говорил он о своей газете.

"И вот теперь, Виктор, вы будете у нас. Только у нас! Пишите хоть в каждом номере. О чем? Детский вопрос! Да о чем хотите!" Потом вдруг заговорил о другой газете "Маарив" — главном конкуренте "Едиота", которая успела в первый же день схватить Давида Маркиша. "Но мы еще посмотрим, что и как.: у них Маркиш, а у нас — редактор "Литературной газеты". Итак, в пятницу первая же статья! О чем? Ах, право, какой же вы чудак! — главное не о чем, а кто!"

Его страстный монолог был прерван телефонным звонком.

"Да, Арончик, да! ("Шеф!" — успел он шепнуть, зажав микрофон ладонью), да, да, здесь, живой и невредимый. Маркиш? Ну и что, Маркиш? Подумаешь, Маркиш! Вот именно! О-хо-хо!" — восклицал он что-то совершенно непонятное.

— Вы слышали, что он сказал? Вы даже не представляете, на что они там способны, в "Маариве"!

Дома меня ждало сообщение, что из Тель-Авива трижды звонил какой-то корреспондент (откуда именно не сказал) и просил срочно связаться в любое время дня и ночи.

Рано утром постучали в дверь: на пороге стоял загорелый, в рыжих роговых очках пожилой человек. Его мучила одышка, но, несмотря на нее, он пытался любым способом проникнуть в комнату. "Вы что, из "Маарива"?! — насторожилась жена.

— Да нет же, нет. Совсем наоборот. Я из "Аль Гамишмар", газеты израильских кибуцов. Понимаете, я хотел бы взять интервью. О чем? Ах, не все ли равно! Но только сейчас, умоляю, сейчас. Ждать? Я буду ждать! Сколько угодно! У меня, знаете, мать из Ровно, а отец из Киева — моя фамилия Ландау, Моше Ландау, тут, понимаете, один щекотливый вопрос: там за воротами машина из "Давара", а у меня нет машины, я на автобусе, встал в четыре утра. Так вот, понимаете, "Давар"...

— Не давать ничего в "Давар"! — решительно воскликнула жена.

— Да нет же, нет, очень даже можно дать, но видите ли мы хотели бы...

— Дать первыми! — снова пришла на помощь жена.

— Ну, в общем да! Наша газета так относится к алие! Я встал в четыре утра, жена спрашивает, куда ты, мишуга? Так что я ей скажу? Конечно, я для нее мишуга!..

БЕЙТ-БРОДЕЦКИЙ

Задуманная нами революция явно затягивалась. Будущих членов Кнессета, министров, реформаторов, опреснителей морской воды рыжий Гоц беспардонно отсылал в Кирьят Шмоне, Афулу, Кирьят Гат, Цфат.

Вы, читатель, может быть, и не слышали про эти места. Не слышали про них и будущие вершители судеб еврейского государства, пока их, ни о чем не подозревавших и мирно при-

землившихся со своими семьями в Луде, не катапультировал в эти медвежьи углы уже упомянутый мной Гоц. Но там, вместо того чтобы учить иврит, они принимались хлопотать о немедленном переводе в Тель-Авив, Иерусалим или Хайфу. Это было не так-то просто. Попавшие в компьютер их имена уже числились за определенными центрами абсорбции, пусть и не имевшими отношения ни к их профессии, ни к их будущему месту работы, не говоря уже о их мечтах и стремлениях. Ни то, ни другое, ни третье не принималось во внимание, а учитывалась некая высшая и недоступная нашему пониманию цель, согласно которой удаление из центра страны лиц, прибывших из Советского Союза с разного рода маниакальными идеями (например, опреснения морской воды или создания новых НИИ), возводилась в степень государственной задачи.

Гнев изливался на Гоца, заместника Сохнута в Луде, но однажды, выпив и разоткровенничавшись со своими рижскими друзьями, он им признался, что он только стрелочник и пешка, и что ребята на него зря обижаются. И наутро запулил очередную группу реформаторов в Галиль, на границу с Ливаном.

Все в жизни повторяется. Эдак лет 35 назад, еще при жизни Сталина, проводилась в Московском Юридическом институте кампания по распределению молодых специалистов: распределяли здесь, как понимает читатель, не реформаторов и не опреснителей морской воды, а обычных московских евреев, с пятым пунктом в паспорте. Если еврей, то получай Томск, Актюбинск или Иркутск. И вот та же картина теперь: только теперь не просто евреи, а еще и отказники, еще и реформаторы.

Видно евреи всегда останутся евреями, особенно если они рвутся делать революцию и быть большими евреями, чем сама Голда Меир. Доживи до наших дней Вольтер, он наверняка бы воскликнул: "Если бы не было пятого пункта, его надо было выдумать!"

А в Луд все прибывали и прибывали — казалось, над страной нависла опасность нашествия русских, в планах которых было вначале овладение центрами абсорбции в Тель-Авиве и

Иерусалиме, а затем уже, согласно Ленину, почтой, телеграфом и телефоном.

Впрочем, все эти гипотезы мне приходят в голову только сейчас, а тогда я, как и все прочие, бросился за помощью к нашему доброму гению Нехемии Гидрону. Я вспоминал его вырвавшийся из самой глубины души вопрос ("Скажите, Виктор, ну, как там ребята?") и звонил ему снова и снова, но добрый гений почему-то никогда не брал трубки. Однажды я сказал его секретарше, что я — это не я, и только тогда услышал его такой родной рокочущий басок: "Это кто? Вы, Виктор? Где вы пропали? Здравствуйте, Виктор! Как дела, как делишки? Жена, дочка, все в порядке?" Я стал ему объяснять, что неведомо как оказался в Ашкелоне и что мне как журналисту там нечего делать. "Виктор, вы правы на все сто процентов!" — ответил Нехемия. "И Раневский и Маневич — инженеры. Что им делать в Кирьят Шмоне", — перешел я в наступление. "Сдаюсь! — рокотал на другом конце провода Нехемия. — Но, Виктор, дорогой, мы же не министерство абсорбции и не Сохнут, мы даже не министерство иностранных дел, мы просто олимовский отдел при МИДе..."

Кого он мне напомнил в этот момент? Кого?

"Да поймите ж, Виктор Борисович, мы даже не комиссия, а только подкомиссия и ничего не решаем!" Я вспомнил: конечно же, он! Леонтий Кузьмич, начальник еврейского отдела московского КГБ! И, уже положив трубку, рассмеялся собственной мысли: Леонтий Кузьмич и Нехемия — кого только рядом не увидишь в этом театре абсурда, в этом прекрасном и слегка тронувшемся мире!

С Нехемией, читатель, мы еще встретимся (хотя я не уверен, что эти встречи вызовут у него такой уж восторг). А пока вернемся в Тель-Авив, куда, спустя две недели, я все-таки вырвался из Ашкелона с женой и дочерью, папой и мамой и куда всеми правдами и неправдами съезжались с периферии нахлынувшие в страну реформаторы из СССР.

Съезжались все в северный район Тель-Авива — Рамат-Авив, в гостиницу для новоприбывших Бейт-Бродецкий, набитую до отказа не помышлявшими ни о какой революции американскими евреями, евреями из Аргентины, Бразилии

и прочих стран мира, ну и, конечно, некоторыми выходцами из Советского Союза. (Теми, что не имели за душой ни одной реформаторской идеи, но имели нечто другое, куда более важное и что не раз выручало их еще там, на доисторической родине.)

О, Бейт-Бродецкий! Кого здесь только не было в ту счастливейшую пору эмиграции! Какие только языки и наречия не слышны были в его гудящем, как пчелиный улей, лобби! Каких только не было лиц! Каких только разрезов глаз! Каких только оттенков кожи! И какую надо было иметь фантазию, чтобы поверить, что все это были евреи!

И как опустел теперь запавший навеки в мою душу Бейт-Бродецкий!

Будучи в Израиле, я забрел туда волей случая: полупустое мрачное лобби, пустые коридоры, пустые номера, и только место то же самое, лучшее место в Тель-Авиве.

По левую сторону, как выйдете, — парк с эвкалиптами, со скамеечками, со старичками и влюбленными на скамеечках, по правую — ступени, а как спуститесь, киоск с газетами со всего мира, а затем улица Бродецкого, а по другую ее сторону, как раз напротив — торговый центр, весь из маленьких экзотических магазинов и лавочек — где мне взять краски, чтобы их описать? Одни только их витрины: бутик, сыры, колбасы, овощи, электроника... Речь польская, идиш, русская, румынская.

Все вас знают и про вас знают и готовы вам услужить на любом из знакомых вам языков. Полу-Европа, полу-Левант, полу-Россия, — кто не жывал здесь, тому не понять, что это такое. Это — Израиль, а что такое Израиль, я не берусь судить. Послушайте тех, кто уехал оттуда, они вам расскажут и какое это местечко, и какое захолустье, и как трудно в нем жить европейцу — и все это правда. Послушайте израильтян — что скажут они? Эрец Исраель! да Эрец Исраель! О, Эрец Исраель! Какой он ни есть, а наш... И мне нечего к этому добавить. Вы хотите знать правду про Израиль, но хотите только одну правду, единственную, высшую. Вы хотите приговора, но уверены ли вы, что пришло уже время его выносить?

Итак, из сосланных на периферию реформаторов я явля-

юсь в Бейт-Бродецкий одним из первых — опять же в мини-автобусе и опять с тем же грузином за рулем, что вез нас в Ашкелон. У входа меня встречает мой старый знакомый еще по встречам у синагоги, бывший сотрудник "Голубого огонька" Марат Шатров. Он уехал на два месяца раньше меня и теперь уже выглядит настоящим саброй — не в туфлях, а в сандалиях, не в костюме (из валютного магазина), а в шортах, в одной батистовой и на волосатой его груди распахнутой рубашке.

Кто сказал, что мы эмиграция посредственностей, без собственного лица и собственных судеб? Я говорю не о диссидентах и подписантах (и уж, конечно, не о реформаторах!), а о молчаливом большинстве и начинаю с Марата Шатрова, имя которого не гремело в самиздате и который уехал в Израиль в одном-единственном костюме из валютного магазина и с одной-единственной иконой Николая Угодника.

За неделю до отъезда он пригласил меня к себе на важный разговор и сказал, что везет в Израиль атомную бомбу. Достал из подкладки костюма несколько мелко исписанных листков и, взяв с меня слово, что я умру вместе с прочитанным, вручил мне его для ознакомления. Бомбой оказалось открытое письмо сотрудника "Голубого огонька" Марата Шатрова Председателю Центрального комитета радио и телевидения гражданину Лапину. Большая его часть была посвящена расправе, учиненной партийным черносотенцем Лапиным над журналистом Шатовым за его скромное желание уехать на историческую родину и воссоединиться со своим народом.

Автор не стеснялся в выражениях и в конце письма называл гражданина Лапина жидоедом и лизоблюдом, которого он глубоко презирает. Слава Богу, ничто его не связывает с погромщиком Лапиным — по приезде на историческую Родину он начинает новую жизнь, у него будет новый язык, язык его предков, на котором он всю жизнь мечтал писать и говорить.

Как только я закончил чтение, он препроводил бомбу туда, откуда она появилась, и тихо проговорил: "Я им, бле, покажу, кто такой Марат Шатров".

Увидев меня вылезавшего из кабинки, он бросился меня обнимать, затем обнял мою жену и дочь, затем папу и маму и тотчас перешел к делу, то есть к освещению своей жизни в Израиле. Начал, естественно, с бомбы, которую понес в "Маарив" (в "Маариве" сидел кретин Диссенчик, ничего не смыслящий в журналистике), затем в "Едиот Ахронот" (в "Едиоте" сидел еще больший кретин, который вообще не знал ни слова по-русски!), затем в "Джерузалем Пост" (где материал просто затеряли).

"Местечко и есть местечко, — язвительно улыбнулся Шатров, — но бомба взорвалась, и знаешь, где? В газете "Трибуна"! На первой полосе! Они у меня, бле, попляшут, плохо знаете, господа офицеры, Марата Шатрова!"

В письме из Израиля он сообщил, что делает потрясный бизнес на Николае Угоднике. Какой именно бизнес, в письме объяснять было долго, но сейчас, вытащив из шкафа (единственная мебель в номере Шатрова) бутылку "Московской", он стал излагать все по порядку. Так вот, Угодника продал за столик одному фарцовщику из Кишинева. На столик, то есть сто долларов купил у барыги с Кузнецкого десять альбомов "Фрески Ферапонтова монастыря". Фрески толкнул старому спекулянту из Питера Склярскому, открывшему в Тель-Авиве букинистическую лавку. Склярский, заплатив по одиннадцать долларов за штуку, сказал, что "Фрески" — это товар. После чего Шатров послал своему другу скрипачу Неме Стрельнику телеграмму: "фрески Ферапонтова монастыря" вези девятнадцать, обнимаю Марат". Но когда они вместе с Немой приволокли на такси два пуда "Фресок" Склярскому, тот ударил их обухом по голове: "С "Фресками" в Париже затор, так что эти он взять не может. Марат взревел и угрожающе вознес над головой Склярского четвертьпудовый фолиант: "А кто мне сказал, что это товар? Вы еще не знаете Марата Шатрова! Но вы очень скоро узнаете его!"

Склярский с перепугу вызвал полицию, устроившую тут же на месте допрос. Марат тыкал пальцем то в свою волосатую грудь, то в Склярского, то в маленького перепуганного

Нему Стрельника, то в никому не нужную гору "Фресок". Кончилось тем, что вызвали такси и всю эту гору отволокли в Бейт-Бродецкий, где за бутылку "Московской" Марат уговорил завхоза Авраама спрятать "Фрески" до лучших времен в подвал. Зато Роза, жена Немы Стрельника, который вложил в "Фрески" все наличные доллары, устроила ему такой скандал, что тот временно решил переселиться к Марату в Бродецкий.

Уже выпив, Марат сказал, что на иврите пусть говорит этот сука-Лапин, а он обойдется русским и уже даже нашел одну журналистскую фирму. "А какую, чтобы не сглазить, не скажу, — улыбнулся пьяной улыбкой Марат, — а иврит, бле, скажу тебе, язычище!"

Марат был красавцем: богатырского сложения брюнет с синими, васильковыми глазами. Евреем он был только наполовину, а на другую половину — болгарин, так что была у него, кроме Израиля, еще одна историческая родина, про которую он как воинствующий антикоммунист обычно не упоминал. Но самым прекрасным в Шатрове была, как, наверное, уже понял читатель, его смуглая волосатая грудь. В Израиле он не застегивал рубахи, и грудь его была вечно нараспашку, что придавало его облику особое богатырское обаяние.

Единственное, что доставляло ему нестерпимые муки, — был язык его предков — иврит. У Шатрова выявился недуг особого свойства, он физически не мог высидеть на уроках иврита более получаса. Садился обычно рядом с женой, которая, по доброте душевной, давала все ему списывать, но это ему быстро надоедало, он начинал вертеться, полизгивать зубами, почесываться, потом складывал тетрадки и исчезал. Назавтра все повторялось снова, пока однажды Шатров не постучал к нам в номер и не сказал: "Все, господа офицеры, язык моих предков не для меня, переманили с потрохами". — "Кто же?" — не выдержал я. — "Вот кто!" — сказал Шатров и гордо извлек из кармана газетный листок — это была все та же газета "Трибуна", которая наутро после моего приезда напечатала мое заявление "Голосу Израиля", а за неделю до этого подняла руку на самого Лапина, поместив откры-

тое письмо к нему бывшего сотрудника "Голубого огонька" Марата Шатрова.

Но оставим Шатрова в газете "Трибуна", к которой уже через неделю у него возникла претензия — редактор "Трибуны" Даниель Амарильо сказал, что из-за финансовых трудностей редакции Шатров на этот раз получит чек в половинном размере. Но оставим и это: и к Шатрову, и к Амарильо мы еще вернемся. А пока окинем еще раз взором Бейт-Бродецкий тех незабываемых дней.

Кто были его обитатели? Кто возьмется их описать? И хоть примерно очертить их круг, тем более их характеры, тем более борение страстей? Я вам, читатель, предоставляю судить, что происходило в их горячечных душах в те первые дни их жизни на своей исторической родине.

...Вот выходим мы из Бейт-Бродецкого с художником Барским, про которого говорят, что он был сыном академика Барского*, некогда забальзамировавшего Ленина и служившего начальником некоего секретного объекта, в задачу которого входила охрана мавзолея в случае покушения на гроб Ильича. Если все это так, то я предоставляю читателю судить, сколько бы раз перевернулся в гробу академик Барский, узнай, куда судьба занесла его непутевого сына.

Я был на проводах Барского, где-то на окраине Москвы, на Мосфильмовской, когда выходил он из дома в окружении двух бесподобных куколок, своих бывших жен — Вертинской-младшей и младшей Максаковой, обе не скрывали слез, когда в белом парижском пальто садился он в белый "Мерседес", на котором его ближайший друг, молодой московский актер Глашан прямо с Мосфильмовской увез его во Внуково. Ах, как правы были советские газеты: сколько судебных советских людей поломал Израиль!

Об одном только Льве-Феликсе Барском я бы мог написать роман. О нем, о его прелестных женах и его неразлучном друге Красном, о котором, среди прочего, было известно, что он был единственным на всю Москву владельцем собственного парохода. Так вот, даже их Израиль умудрился злодейски разлучить. Красный тотчас получил разрешение, а Барский — по понятным читателю причинам — тотчас угодил

* Правильно — Збарский (Д.Т.)

в отказ. В отказе, точнее, в разгаре борьбы за выезд мы с ним и познакомились. Он был прирожденным бойцом, готовым испепелить каждого из нас, если в чем-то не встречал согласия. В нем сидел дух противоречия, и он всегда был "против". "Барский, — хорошая страна Израиль?" — "А что в ней хорошего?" — "Барский, пойдем бастовать на телеграф!" — "Иди, я не идиот". Но все-таки в тюрьму на две недели он угодил и после этого решил пойти в ОВИР на таран (советская власть еще не знала, с кем имеет дело!). Он одел самый лучший свой костюм и отправился на прием к замначальника ОВИРа, к майору Золотухину. Он вошел к нему в кабинет и закрыл за собой дверь. Содержание их разговора так и осталось похороненным в стенах ОВИРА, но согласно непроверенным источникам, Барский не скандалил и не угрожал, как некоторые. Нет! Он мирно сел перед Золотухиным и тихо и проникновенно сказал: "Я знаю, почему вы не даете мне разрешения!" — "Почему же? — интересно знать". — "Вы боитесь, что я разглашу секретные данные об одном небезызвестном нам с вами объекте". В кабинете наступила мертвая тишина. "Надеюсь, вы, товарищ майор, догадываетесь, кого я имею в виду, и не заставите меня называть это имя вслух".

— Нет! Нет! Нет! — вскочил с кресла ставший белым, как бумага, Золотухин. Он сказал, что подумает и доложит начальству и еще что-то совершенно странное.

Никто из нас не мог и ума приложить, какая связь была между намеком Барского и полученным им через неделю разрешением на выезд.

...Ну так вот, выходим мы из Бродецкого с художником Барским. На нем европейского покроя исключительно изящный бархатный пиджак, купленный по дороге в Израиль в Париже, на Елисейских полях. Ко мне он всегда обращается своим прокуренным и простуженным голосом с одним и тем же: "Пойдем, Перельман, напротив, посидим, кофейку выпьем". К Израилю отношение у Барского двойственное. Иногда (как правило, по утрам): "Ох хорошо! Ох тепло! Солнышко светит!" А иногда (чаще по вечерам): "Ну и идиот, нашел куда приехать и, главное, — уже был в Париже, и вот, пожалуйста, прибыл, мудака, на родину предков".

Мы сидим напротив в кафе, болтаем о том, о сем и никто из нас не предвидит его романтической судьбы, как встретит он однажды на лестнице Бродецкого американку, манекенщицу Керри (чем-то неуловимо напоминающую обеих сразу — и юную Вертинскую и юную Максакову) и как бросит она ради Левы своего пятидесятилетнего бой-френда бруклинского фотографа Джо, и как поселятся они в Рамат-Гане, и как Керри будет плакать на груди у моей жены и жаловаться, что Лева не хочет работать. О, к этой сцене я еще вернусь и тогда сам Лев Феликс Барский скажет, почему он не хочет работать и, может быть, мы примем его объяснения, а пока лишь замечу, что в конце концов Керри напишет о своей горькой судьбе в газету "Джерузалем Пост", где — как ни странно — к ее женским страданиям проявят куда больше внимания, чем к сионистским обвинениям Шатрова в адрес жидоеда Лапина.

Керри исчезнет, а Лева поселится в холостяцкой сохнутовской квартире на улице Анны Франк, где будет у него одна-единственная раскладушка, окруженная горами окурков, подрамниками, холстами, красками. Пора мне заканчивать про своего друга Барского, и я бы уже перешел к другим обитателям Бродецкого, если бы не угораздило меня стать его гарантом в сохнутовском банке "Идуд" и потому время от времени меня вызывали в суд. И тогда я ехал на улицу Анны Франк и барабанил изо всех сил в двери Барского — разбудить Барского до двенадцати дня было делом абсолютно безнадежным, но я все-таки добуживался, и отправлялись мы вместе к нашему единственному на весь Сохнут ангелу-хранителю Аленбойгену и плакались ему в жилетку. Аленбойген звонил в банк "Идуд", и дело из суда изымали под честное слово Барского уплатить до последнего агорота.

Барский был рыцарем и человеком слова, но он начисто утрачивал эти благородные качества, как только заходила речь о долгах Сохнуту. И дело снова шло в суд, и снова я ехал на улицу Анны Франк, и снова мы шли к Аленбойгену, пока все это не надоело Барскому и не уехал он в Нью-Йорк и не поселился в Сохо. Что он делает? Готовится к выставке и гуляет со своими любимыми двумя собаками и наслаждается жизнью в Сохо, впрочем, кто его знает, что он делает, если

мы с ним почти не видимся, а лишь перезваниваемся: "Здравствуй, Лева!" — "Здравствуй, Витя!". — "Что происходит?" — "А ничего не происходит". — "Как собачки?" — "Собачки хорошо". Вот какой содержательный разговор в нашей содержательной нью-йоркской жизни!

Вы, конечно, читатель, думаете, что, прикоснувшись к интимной жизни Барского и Керри, вы уже заглянули в самые глубины эмигрантских душ. Боюсь, что до самых глубин мы не доберемся никогда. Тем более в большинстве своем обитатели Бродецкого были вполне добропорядочные люди такие, как писатель Изя Йонас с женой Фридой и двенадцатилетней тогда дочерью (позже судьба-индейка собьет с пути и Изю), как сестры Баазовы, дочери знаменитого грузинского раввина Баазова, как семья американских евреев Бобисов, решивших попытаться счастья в Израиле...

Удивительно устроена моя голова — пропускать добродетели и их носителей мимо внимания (пусть себе ходят в ульпан, учат иврит, морочат голову сохнутовским чиновникам) и задерживаться на всякого рода странных лицах, которых иной добропорядочный автор не удостоил бы внимания. Но, поверьте, я это делаю не из желания оригинальничать, а из желания следовать правде, ибо эти лица и нарушали весь плавный ход эмиграции и вообще плавный ход жизни. А главное, они отравляли существование тем бескорыстным идеалистам, которые решили отдать себя без остатка делу еврейской эмиграции. Об этих идеалистах у нас опять-таки речь еще впереди, а пока — о горячечных душах Бейт-Бродецкого, без которых вся его жизнь, с его ульпанами, субботними разноцветными свечами, с экзотическими молящимися раввинами, — вся эта жизнь оказалась бы попросту посаженной на бессолевую диету.

Начну с того, что душной июльской ночью в Бейт-Бродецкий ворвался наряд полиции и сразу же поднялся в номер к знаменитой пианистке Софе Лазебниковой. И тотчас выяснилось, что Лазебникова в этом номере уже давно не жила, а проживает здесь некий стареющий блондин с чисто славянской наружностью, по имени Коля Рогожников. Его поведение и послужило поводом для прихода полиции в этот интел-

лигентнейший из отелей Тель-Авива. Как выяснилось, из номера Рогожников почти никогда не выходил. Единственно, с кем он поддерживал контакт, был уже упомянутый Марат Шатров. И кроме него, никто не знал романтического прошлого Рогожникова, что был он танцором Краснознаменного ансамбля песни и пляски имени Александра и по какой-то малопонятной причине был вывезен пианисткой Лазебниковой на ее историческую родину, где и оказался предоставлен сам себе. Ну а дальше вы, читатель, и сами, верно, догадываетесь, каким способом утолял свою истомленную душу бывший танцор Краснознаменного ансамбля песни и пляски Коля Рогожников, оказавшись на исторической родине своей жены Софы Лазебниковой

Но и в этом администрация Бейт-Бродецкого, ни тем более тель-авивская полиция не увидели бы ничего предосудительного, не окажись он на тель-авивском Плац-Пигале, улице Аяркон, и не захвати он оттуда в Бейт-Бродецкий девушку. Но и это еще не было самым страшным (Аяркон для того и существует, чтобы брали оттуда девушек).

Самое страшное произошло в предрассветный час, когда к Бейт-Бродецкому подкатил старый гигантский "Бюик" и из него вылезли странного вида евреи и пытались по канату взобраться в номер к Лазебниковой. Все тут было окутано мраком, за исключением того, что в предрассветный час танцору ансамбля имени Александра оказалось нечем уплатить честно отработавшей свое девушке. И последней не оставалось ничего другого, как вызвать на помощь своих товарищей с того же тель-авивского Плац-Пигаля — улицы Аяркон.

Скажите, что бы сделали с танцором Рогожниковым в любом цивилизованном государстве? — Об СССР я не говорю — ну, скажем в Нью-Йорке: если бы это произошло даже в каком-нибудь третьестепенном Грейстон-отеле? Наверное, его, как минимум, оштрафовали бы или выселили бы из гостиницы, а то бы и депортировали как не имеющего никаких документов.

В Бейт-Бродецком Рогожникова вызвали на беседу к доктор-Клинггер. И далее я не могу просто продолжать, не ска-

зав хоть несколько слов о доктор-Клинггер. Выше я упомянул о добровольцах-идеалистах, так вот, в Бейт-Бродецком они были представлены доктор-Клинггер.

При описании ее я заранее отказываюсь от реалистических приемов, к коим я то и дело прибегал на предыдущих страницах. Сказать, например, про доктор-Клинггер, что была она блондинка низенького роста, в очках, делающих ее похожей на классную даму, — значит, ничего не сказать. Ибо к тому же она была полковником в отставке Британской армии и ходила такой властной походкой, что можно было принять ее и за генерала в отставке. Особенно, когда утром подъезжала в своем "Пежо" к Бродецкому и, сопровождаемая своим бессловесным мужем, направлялась в кабинет к его директору — добряку и симпатяге Мотке.

Если Мотке был администратором, хозяйственником Бейт-Бродецкого, то доктор-Клинггер была его идеологом и комиссаром. И если к этому добавить, что всю свою комиссарскую деятельность она осуществляла исключительно на волонтерских началах и, следовательно, не боялась никого на свете, то можно представить, в сколь нешуточном положении оказывалась любой, за кого принималась доктор-Клинггер, к тому же еще и говорившая по-русски.

Ко мне как к журналисту и активисту алии она сразу же преисполнилась доверия, не заметив, как я превратился в ее постоянного консультанта. Впрочем, повторяю, из множества проблем, занимавших обитателей Бродецкого, доктор-Клинггер интересовало только то, что было связано с их идеологией и нравственностью.

Одним из первых, кто попал в поле ее зрения, был Марат Шатров. Оказавшись в "Трибуне", он обрушил всю силу своего темперамента против правящей Рабочей партии, членом которой (или, может быть, она ей явно сочувствовала) была доктор-Клинггер.

В "Трибуне", как некогда в нашей многотиражке "За отличный рейс", всегда ощущался дефицит с материалами, и Марат, ее единственный литсотрудник и политический обозреватель, мог себе позволить не особенно стесняться в выражениях.

— Господин Пэрэльман, — встречала меня по утрам доктор-Клинггер, — вы мне можете объяснить, что представляет собой этот Шатров? Он вообще еврей? Вы читали, как он ужасно выражается в этой своей газетенке? Как вам нравится его вчерашняя статья "Рука руку моет"? Объясните мне, что это значит — "рука руку моет"? Это так говорят в теперешней России? Я первый раз слышу! А вы читали его статью "Партийный жучок"? Это он так пишет о Бен-Меире — одном из первых людей партии. У всех у него "рыло в пушку", все какие-то бандиты и жулики. Его послушать — так неизвестно, как мы выиграли три войны. Вы, кстати, не знаете, где он раньше служил? Говорят, на телевидении. Можно себе представить, что это за телевидение, если там работают такие, как Шатров!

Но особенно доктор-Клинггер была возмущена скандалом с Рогожниковым, который не заплатил проститутке с улицы Аяркон. "Нет, как вам все это нравится, господин Пэрэльман?! Мало у нас в Бейт-Бродецком своих цоресов, нам еще не хватало проституток с Аяркона. Это же надо додуматься — привести среди ночи в отель для новых олим! Между нами говоря, только гой себе мог это позволить. Вы, кстати, не знаете, кто он был там, этот Рогожников? Говорят какой-то артист, танцор — я очень знаю, чем они там все занимались..."

Впрочем, после личной беседы с Рогожниковым доктор-Клинггер несколько смягчилась и даже пошла хлопотать к Мотке, чтобы его не выселяли.

— Вы знаете, господин Пэрэльман, он у меня был сегодня, этот ваш танцор. Он оказывается пьет водку. Говорят, они выпивают с этим Шатровым, Вы что-нибудь слышали об этом? Я его спросила: "Как же это все получилось у вас, господин Рогожников, с этими женщинами легкого поведения?" А он: "бе-е, ме-е, сам не знаю". Тогда я ему сказала: "Знаете что, господин Рогожников, мы с вами не в детском саду — так это, кажется у вас называется,— или будем говорить откровенно или не будем говорить вообще. Так вы знаете, что он мне рассказал? Что он вообще не хотел никуда

уезжать! Но оказывается, у него от первой жены трое детей, и она его так преследовала с алиментами, что он решил жениться на этой Лазебниковой и уехать в Израиль. Ну, как вам это нравится? У нас мало своих цоресов! Я его спросила: "А что вы, господин Рогожников, собираетесь в Израиле делать?" И что же он мне ответил? Вы не знаете, что он мне ответил. Он сказал, что хочет создать национальный израильский балет! Нет, как вам нравится этот хохом! Я сказала: "Послушайте, господин Рогожников, но ведь на это нужны средства". Так он мне отвечает: "А Сохнут на что, доктор Клинггер?!" Вы знаете, что я решила? Позвонить Нехемии: пусть они что-нибудь с ним решают... Кстати, господин Пэрэльман, а что вы знаете об этой Лазебниковой? Она действительно живет с этим артистом? Ну давайте рассуждать логично: если у тебя есть жена, так зачем тебе эти бабы с Аяркона? Но, с другой стороны, зачем этот аморальный алкоголик нужен Лазебниковой? У меня просто от всего этого идет голова кругом. Я вам скажу откровенно, у нас еще не было такой алии. Когда мы приехали, так были какие-то идеалы. А какие идеалы у этого танцора? Так он еще хочет нам с вами создавать балет. Представляете, что это будет за балет..."

В этом месте я хотел бы прервать страстный монолог доктор-Клинггер о черной неблагодарности, которую пожирают от своей паствы добровольцы-идеалисты. Особенно доставалось тем, которые — опять же по совершенно доброй воле — подобно доктор-Клинггер — взвалили на себя тяжелую ношу быть душеприказчиками нашей алии.

Бедная, наивная доктор-Клинггер, — хоть и служившая в некие романтические времена полковником Британской армии — что она могла знать о происходящем в горячечных душах новых олим из СССР! Вот это ее незнание, ее наивность и романтичность устремлений и были оплачены черной неблагодарностью некоторых новожителей Бейт-Бродецкого.

Она переживала о заблудшей душе бывшего танцора ансамбля песни и пляски Рогожникова, попытавшегося так некрасиво надуть девушку с улицы Аяркон, ей не давало покоя

поведение бывшего сотрудника "Голубого огонька" Марата Шатрова, называвшего в газете "Трибуна" ее товарищей по партии жучками и хануриками, но главное — и я бы сказал самая нехорошая — бацилла притаилась не в них. И не в Льве-Феликсе Барском, разрушившем любовь добропорядочного бруклинского еврея, фотографа Джо, и не виолончелисте Марке Заславском, о котором я также считаю необходимым упомянуть, поскольку доктор-Клинггер угробила невообразимое количество энергии, чтобы найти ему, одинокому холостяку, брошенному антисемиткой женой, работу в Тель-авивском университете, а он возьми — и слиняй в Швейцарию, где сразу же женился и опять же на гойке ("нет, ничему не учит жизнь ваших советских евреев, господин Пэрэلمان!" — сокрушалась при этом известии доктор-Клинггер).

Но, повторяю, не от Барского и не от Заславского получила доктор-Клинггер удар, после которого она — бывший полковник Британской армии — слегла на несколько дней, а от нового оле из Одессы, бывшего чемпиона по вольной борьбе УССР Петра Мосолова, эпопею которого, взявшись за описание нашей эмигрантской одиссеи, я просто не вправе опустить.

Среди всех постояльцев Бродецкого, точнее, среди всех посидельцев расположенного возле его крыльца скверика, это была, может быть, самая тучная и самая трагическая фигура. С утра до вечера он забивал на скамеечке козла с такими же, как он, постояльцами, отчаявшимися постигнуть язык предков и потому не ходившими в ульпан. И однажды заговорил со мной и Барским, когда мы спускались с крыльца Бродецкого отпить в кафетерии Рабиновича напротив по чашечке кофе.

Он тоже спускался с крыльца в это знойное тель-авивское утро. Было в нем, наверное, килограммов сто веса. Возраст неопределенный, лет пятидесяти, может, пятидесяти пяти, лицо красное — то ли алкоголика, то ли сердечника, — и вот, поравнявшись с нами, он, язвительно улыбаясь, спросил: "Ну, как мужики, родина предков?" Барский, тотчас уловив язвительность, ответил: "А что — прекрасно! Солнышко! Хоро-

шо!" — "Да, солнышко, ядрена вошь, — улыбнулся странной улыбкой толстяк, — а то у меня там не было солнышка. Вы откуда сами-то будете? Из Москвы? Ну, может, у вас в Москве и хреновато было, а что скажите мне, старому пердуну, не хватало? Вам, думаю, и не снилась такая жизнь, какая у меня была в Одессе. Перед каждым матчем лично зампредисполкома Скобликов Иван Иванович звонил: "Петь, а Петь, может, тебе чего нужно, ты только скажи. Петь, все достанем..." А Петя под старость выдал им такого куража с корицей — на историческую родину отвалил. Иван Иванович лично перед отъездом вызывал — я уж никто был, тренер в школе, а все равно — сколько вместе выпито, сколько баб совместно катапультировано! Вот он и говорит: "Петь, а Петь, ну какой ты сионист, взгляни на себя в зеркало!" А я, старый мудака, свое: "Хочу воссоединиться со своей засранной тетей в Тель-Авиве". Во, мужики, в какие дела влопался! Вы спортом-то увлекаетесь? Оно и видать, нет. А то бы слышали про Петра Мосолова — десять кубков взял. Вообще-то по паспорту я не Петр, а Пинхас, Пиня, и фамилия моя настоящая — Мессингисер, но про это все уже забыли — Мосолов и Мосолов! Баба моя по блядскому делу пошла. Моложе она меня на пятнадцать лет. Но вот, как застал я ее на катапульте, взяла меня такая заноза, ну, думаю, курва, разойдутся наши пути-дорожки. Пра-льно мама говорила: "Не женись, Пиня, на шиксе, пожалеешь". В общем, что вам, мужики, говорить, сами все понимаете. А тут еще давление двести семьдесят на сто двадцать — от этого солнышка..."

С этого монолога и началось наше знакомство. Ну, а что Пиня говорил доктор-Клинггер, этого никто не знал. Известно только, что что-то в ней дрогнуло, растаяло, когда она узнала про судьбу чемпиона по вольной борьбе Мосолова-Мессингисера. Однажды, встретив меня, она, совершенно расстроенная, сказала: "Вы слышали, господин Пэрэلمان, какое несчастье с нашим боксером: инфаркт! Увезли вчера ночью в больницу Хадаса. Хорошо, хоть есть кому ухаживать... — улыбнулась она заговорщической улыбкой, — Вы, надеюсь, слышали об этом романе?" И тут же доктор-Клинггер мне по-

ведала о том, что вмиг стало достоянием общественности Бродецкого. Сразу же, как у Пини случился инфаркт, в него до беспамятства влюбилась пятидесятилетняя Шушанна, регистраторша Бейт-Бродецкого, прибывшая сюда всего за месяц перед ним из Рио-де-Жанейро.

Неизвестно, отвечал ли ей Пиня той же страстью (внешне она была полной ему противоположностью: тощей, рыжеволосой жердью); загадкой было и то, как они общались (она не знала ни русского, ни украинского, а о Пинином знании языков мы можем только догадываться), — но при этом обилии неизвестных доктор-Клинггер была точно осведомлена, что Шушанна все ночи не отходила от Пини и даже попросила у Мотке два дня за свой счет.

Правда, теперь уже ретроспективно, выяснилось, что Шатров, напротив которого поселился Пиня и с которым они иногда пропускали по шкалику, дважды видел вышмыгивавшую из его номера в одной сорочке Шушанну и что она кому-то под совершеннейшим секретом поведала, что знаменитый русский борец из Одессы успел ей сделать предложение. И сказал, что он хоть сейчас отдаст ей руку и сердце, если она отвалит с ним назад в Рио-де-Жанейро.

В эти слухи доктор-Клинггер не верила, она лишь знала, что приложит все силы для того, чтобы пристроить нового оле из Одессы Мессингисера куда-нибудь физруком в кибуц: "Не думайте, господин Пэрэльман, что там так уж его ждут. Подумаешь, чемпион! Когда он был чемпионом! А сейчас старый больной еврей, да еще с гипертонией. Но я все это объяснила Нехемии, что, если б он был молодой, как этот дебошир Шатров, так я бы не стукнула и палец о палец. Но старый больной еврей с гипертонией и инфарктом — да мы просто обязаны ему помочь! Вы думаете я очень верю в этот его роман с Шушанной? Да у нее нет ни кола, ни двора, а то, ждите, — так бы она и приехала из Рио-де-Жанейро! Но в конце концов, если мы найдем ему работу, так это их дело. Как вы думаете, господин Пэрэльман, что, мы должны вмешиваться в их личную жизнь?"

Бедная, наивная идеалистка доктор-Клинггер! Откуда было ей знать, что еще до злополучного своего инфаркта Пиня

просиживал ночами в своем номере и строчил длинные простыни, которые отправлял с ближайшей почты в СССР заказными с уведомлением о вручении. Знай доктор-Клинггер о вероломном содержании этих простыней, у нее бы не осталось сомнений, как ей поступить. Но, как это бывает в жизни, доктор-Клинггер обо всем узнала последней, точнее, предпоследней. Последняя была Шушанна, которой стало известно обо всем уже после исчезновения любимого из Бейт-Бродецкого. Исчезновения — и куда? Какой позор свалился на ее еврейскую голову!

Первыми же обо всем узнали мы с женой, когда однажды, выходя из Бейт-Бродецкого, встретили исхудавшего после инфаркта и на десять лет помолодевшего от разрывавшей его радости Пини.

"Какая у меня, мужики, весть, какая весть!" — причитал он, даже не обратив внимания, что мужик среди нас с женой был только один. "Что, работу нашли! — воскликнула жена. — Где, в каком кибуце?" — "Работу? — странно усмехнулся Пиня, — нужна мне эта ихняя работа, на ихнем сраном солнышке..." И, набрав в легкие побольше воздуха, он сообщил, что решением Президиума Верховного совета ему разрешено вернуться в СССР. "Не хотите, резиновую лодочку, по дешевке отдам? Там пятьсот рублей стоила, по благу в Союзспортивентаре сделана. Ох, какая лодочка, какая лодочка!" — окончательно впал в эйфорию Пиня и, взяв с нас слово никому ничего не рассказывать, зашагал куда-то прочь. Мы с женой отправились в другую сторону, придя к обоюдному семейному выводу, что как бы ни была прекрасна Пинина лодочка, в данной ситуации нам лучше с ней не связываться.

Испарился он дня через два, не попрощавшись с любимой из Рио-де-Жанейро, за что персонал Бродецкого осуждал его даже больше, чем за отъезд в СССР. Все смотрели на превратившуюся в тень Шушанну с сочувствием и жалостью. Доктор-Клинггер наутро после его исчезновения не вышла на работу, а появилась в Бейт-Бродецком дня через три, еще более суровая жесткая и по-полковничьи подтянутая.

О Пине она в разговоре со мной даже не упомянула, а лишь вскользь, когда появился в Бейт-Бродецком бывший корректор "Советиш Геймланд" Изя Циперсон, заметила: "Господин Пэрельман, вы лично знаете этого Циперсона? Я вполне допускаю, что он может оказаться агентом КГБ. Надеюсь как журналист вы понимаете, что я имею в виду. Кстати говоря, Шушанна хотела принять целый пакет валиума. Вы что-то слышали об этом? Ах, кто бы мог подумать, кто бы мог подумать!" Больше доктор-Клингер к этой теме не возвращалась. Она просто навсегда выбросила Пиню из своего сердца.

РУВЕН ВЕРИТАС И ДРУГИЕ

Да, я уже предвижу глухое недовольство читателя: ну а где же все-таки сам Израиль? И каков он? И как там жил автор? И как живут сто с лишним тысяч эмигрантов?

Эта книжка не об Израиле, а обо мне: как в один прекрасный день я решил перебраться из СССР в еврейское государство и как основал в городе Тель-Авиве русский журнал "Время и мы", и как, прожив здесь без малого восемь лет, уехал вместе с журналом в Соединенные Штаты, и как купил себе под Нью-Йорком дом и, оборудовав в этом доме маленький кабинет, день за днем пишу эту книгу. Но, задумав это сделать, тотчас же столкнулся с трудностью: какую избрать точку отсчета и какое понимание мира признать истинным — тогдашнее ли, 73-го года, сопутствовавшее моему приезду в Израиль, или нынешнее, с каким я живу сейчас. По здравому смыслу — более верно то, что приходит с возрастом. Но это было бы неоспоримо, если бы жизнь развивалась в согласии с законами логики.

А если она лишь театр абсурда, и мы с вами, читатель, лишь актеры в этом театре, то разве я не вправе строить сюжет по законам своего абсурдного видения? А потому не будем удивляться ни Шатрову, ни доктор-Клингер, ни Пине Мессингисеру (возможно, продолжающему преспокойно

жить в Одессе), ни тем из многих персонажей, которые еще будут появляться на сцене. Не пытайтесь понять, хороши ли они, плохи ли, умны ли, благородны ли, логичны ли, а главное — достойны ли места, которое им уделено в книге. Сейчас я вам открою, может быть, самый большой, хотя, конечно, не самый приятный секрет: я только говорю, что пишу о себе (потому что так положено говорить: де лирический герой и прочее), на самом же деле я пишу о нас с вами, читатель, да, да, я и вы — в общей упряжке — без шор, без прикрас, без романтики, без главной идеи, а с одной лишь целью — показать, как мы будем выглядеть, проявив максимум откровенности в своем диалоге с самими собой.

В 73-ем году я считал себя еврейским активистом — я голодал на телеграфе и рвался в Израиль, чтобы вместе с такими же, как я, перестраивать страну. В 83-ем — я этому улыбаюсь, как улыбаются взрослые люди при воспоминании о своих детских забавах.

Я взошел на высшую ступень и живу в стране высшей цивилизации и выпускаю популярнейший на Западе русский журнал. Но отчего же так тянет меня в это мое давно покинутое детство. Именно по этой причине я делаю сейчас отступление и, погрузив свои монетки в пятисотместный "Боинг" израильской фирмы "Эл-Ал" совершенно натурально, со скоростью восемьсот миль в час, лечу назад в 1973 год. И снова, как когда-то, вырываются из тьмы огни Тель-Авива, и снова рисую я первые минуты встречи и рвутся из души полувнятные, восторженные слова...

Но все произошло так буднично, что даже малейшее отклонение от натуральных событий прозвучало бы не иначе, как фальшивая нота. Ну как, например, если бы на веселой пьянке в бронницком колхозе "Борец" аккордеонист вдруг после буйного гопачка стал бы ни с того ни с сего нежно наигрывать Шопена.

Все происходило так, как будто я никогда не покидал своей исторической родины. Возле паспортного контроля меня заставили заполнять специальную бумажку для проверки моего армейского прошлого. Затем я ждал минут сорок своих

двух вышвырнутых откуда-то из подземелья чемоданов. Потом произошла заминка, в которой, впрочем, скорее виноват мой облик, нежели порядки в аэропорту Луд.

Заминка произошла на таможне — мой облик вызывает у всех таможенников мира жгучее желание обшарить мои чемоданы. И этот приезд из Америки не стал исключением.

Я храбро пошел на зеленую черту и тотчас услышал на иврите: "Адони!" — что в точном переводе означает "мой господин" и что с незапамятных времен утратило свой первоначальный изысканно-вежливый смысл. Я оглянулся и увидел подзывающего меня и подозрительно рассматривающего с ног до головы длинного, тощего, молодого еще таможенника. Решив провести таможенную экзекуцию с толком, с чувством, с расстановкой, он предложил мне для начала раскрыть "дипломат" (для бриллиантов баул не нужен!). Я раскрыл, и он впился в его содержимое ястребиным взглядом. Но тотчас этот ястребиный взгляд потух и в нем проснулось с трудом скрываемое разочарование. Разочарование тут же сменилось благодушным удивлением: кого только не носит на трансатлантических рейсах! Короче, его ястребиный взор уткнулся не в бриллианты, а в стопу журналов "Время и мы". На его лице продолжало сохраняться выражение охотника, который целился в тетерева, а угодил в воробья и теперь не знает что делать — то ли злиться, то ли потешаться над собственной неудачей.

"Это на каком же языке?" — стал он рассматривать один из номеров. Узнав, что на русском, страшно обрадовался и немедленно сообщил, что его отец с Украины. Я уж было хотел ему по этому случаю один номер презентовать, но в ответ услышал: "Да нет же, умер он, умер...". Я приготовился было раскрыть баул, но он засмеялся и сделал знак рукой: не надо! Мол, и без того видно, что за контрабандист. Но и расставаться явно не спешил. И стал вдруг расспрашивать, что это за журнал и что в нем пишут, и где печатают, а когда все выяснил, задал вопрос уже совершенно из другой оперы: "Это кто ж тебе ручку на чемодане оторвал?" — "Да, ладно!" — пытался отмахнуться я, довольный, что, слава Богу, нако-

нец окажусь на улице. "Нет, не ладно, пускай чинят. Ты на какой компании приехал? На "Эл-Ал?" Ну, вот слушай, иди вон в тот зал, разыщи там Ицика, рыжий такой. Покажи ему ручку и скажи, что ты от Шлемы".

Около Ицика толпились пострадавшие вроде меня. По каждому случаю составлялся длинный протокол, ждать нужно было минимум час, и я решил плюнуть. Но когда возвращался назад, Шлема снова окликнул меня: "Эй, адони с книжками! Ну как, устроился?" Я ответил: "Да, полный порядок". Но он, видимо, не верил мне, решил удостовериться и, увидев все ту же сломанную ручку, помог мне выкатить чемодан на улицу.

Вот так встретил меня Израиль после двухлетнего отсутствия. Судите сами — хорошо или плохо, с желанием или без.

Наутро я взял у товарища машину и отправился в путешествие по Тель-Авиву и, естественно, первое место, где я появился, был Бейт-Соколов.

Что такое Бейт-Соколов? Бейт-Соколов — это израильский Дом журналиста. Здесь самое знаменитое в Тель-Авиве кафе, но это еще не главное. На Дизингоф и Бен-Иегуда есть кафе и получше. Бейт-Соколов — это место встреч министров, газетчиков, бизнесменов, генералов, чиновников, влюбленных, любовников... В Бейт-Соколов состоялась моя первая встреча и первое знакомство с человеком из легенды Рувен Веритасом.

Читатель, естественно, спросит, кто же такой Рувен Веритас. Рувен Веритас — в прошлом боец Латышской дивизии, а ныне майор израильской армии, но это ровным счетом не имеет никакого отношения к делу.

Впрочем, есть у него специальная должность — уполномоченный по делам печати израильских вооруженных сил. А это уже прямо относится к тому, что Рувен Веритас — за-всегда Дом журналиста. И вот тут-то мы и подходим к главному.

Во всяком случае, если бы я был режиссером спектакля об эмиграции в Израиль и размещал бы главных действующих лиц, то посреди сцены я бы поставил щит и написал на нем:

"Бейт-Соколов". А рядом усадил бы толстяка, похожего одновременно на Гаргантюа, китайского мандарина и еврея из Ри-ги. Этот толстяк и есть Рувен Веритас. Он же Рува, он же Рувке, он же Рувен, он же Рувкеле, он же просто Веритас.

В те дни, когда в Израиль нагрянули будущие члены Кнесета, реформаторы, опреснители морской воды, у которых чесались руки от жажды действия и которых разогнали в разные концы страны, — он был единственным человеком, исполненным желания им помочь.

Министр абсорбции Натан Пелед сидел в Иерусалиме. До него было далеко. Председатель Сохнута Альмоги сидел на той же улице Каплан, что и Бейт-Соколов. Но до него было еще дальше — он просто никого не принимал.

Рувен Веритас принимал всех прямо в кафе Дома журналиста. И всякому входящему воздавал должное. Нет, не воздавал! Каждого приехавшего оттуда он возносил до небес. Это были не просто журналисты, писатели, актеры, редакторы, а знаменитые журналисты, знаменитые писатели, знаменитые актеры, знаменитые редакторы...

Чем занимался Рувен Веритас? С самого утра он усаживался с газетой за столик в кафе и, заказав себе что-нибудь заку-сить, принимал знаменитостей из СССР. Рядовые к нему не приходили. Рядовых он не замечал. Впрочем, в те дни знаменитых было так много, что казалось, незначительные вообще не приезжали в Израиль...

Вот входит в Дом журналиста режиссер Спильный — лицо Веритаса расплывается, сияет: "Вы знакомы?" — "Познакомьтесь. Хочу вам представить. Знаменитый советский режиссер Спильный". Затем появляется московский переводчик Купершток. "Познакомьтесь, да познакомьтесь же скорее — знаменитый русский поэт Купершток". — "Не Купершток, а Кленов", — поправляет его тот, уловив некую несообразность между своей фамилией Купершток и определением "знаменитый русский поэт".

Однажды я вошел в кафе Бейт-Соколов, за столом Веритаса сидел уже знакомый мне по Москве корректор журнала "Советиш Геймланд" Изя Циперсон. Он уписывал за обе ще-

ки борщ (кажется, именно в это утро доктор-Клингер устроила мне допрос и заявила, что она не удивится, если Изя Циперсон окажется агентом КГБ). Но, как я уже сказал, ничего не знающий об этом Изя Циперсон уписывал за обе щеки борщ и развивал какие-то идеи перед Веритасом. "Вы не знакомы?" — стал поочередно обращаться то ко мне, то к нему Веритас. "Это Виктор Перельман, бывший ответственный редактор "Литературной газеты", знаменитый советский журналист — а это — главный корректор "Советиш Геймланд" — знаменитый московский корректор".

Из всех знаменитостей он считал наиболее заслуживающими внимания нашу троицу — меня, Барского и бывшего московского фотокорреспондента Льва Гринберга. Он звонил по нашим делам во всякие ведомства, выбивая для нас ссуды, но всюду тянули резину и обязательно объявлялся деятель, на котором все замыкалось и которого Веритас смачно называл "шмок". Шмоком был министр абсорбции Пелед. Шмок — начальник тель-авивского округа этого министерства Арончик Паран. Шмок — правая рука Арончика и начальник жилищного отдела Зицер. Но главным шмоком был не Пелед, не Арончик Паран, не Зицер, а прославленный герой алии Гриша Майзлин, с которым я познакомился почти сразу же после встречи с самим Рувеном Веритасом. Он вразвалочку вошел в кафе Бейт-Соколов, походкой ответственного работника, сел к нам за стол и тотчас стал рассказывать Веритасу, как Голда дала прикурить Бегину на последнем съезде партии. "Ты знаешь, Рувка, я просто не ожидал, что старуха так разойдется! А ты ожидал? Ну скажи, ожидал?" Рувену явно не хотелось продолжать эту партийную дискуссию. "Ожидал — не ожидал! Ты видел, Виктор, этого политического деятеля?" — "А что, Рува, ты знаешь, что сказал мне вчера Бен-Меир? Он прямо сказал: "Гриша, тебе место в исполкоме Гистадрута обеспечено". Затем Гриша взглянул на меня опять же взглядом ответственного работника: "Кстати, Виктор, не сегодня-завтра тебе придется определяться. Я надеюсь, ты не забыл еще этого: "Кто не с нами, тот против нас!" — "Он с нами, с нами, Гриша, не волнуйся!" — прервал его

Веритас, и, когда Гриша отправился к соседнему столу, коротко бросил ему вслед — шмок. "Ты знаешь его историю — какой здесь был фестиваль? Какой фестиваль! Едет Гриша Майзлин — герой Советского Союза. Сама Голда встречала. Речь ему на иврите написали. А потом выяснилось, что он такой же герой, как я".

Гриша Майзлин появляется на сцене против всякой моей воли. Его время еще впереди, и мы еще узнаем о нем много любопытного и даже, как высек он слезы счастья из глаз твердокаменной Голды Меир, но что поделаешь, если он для Веритаса просто шмок. И вообще, по словам Рувена, в Израиле, куда ни ткнешь пальцем, на каждом шагу шмок. Они везде, кроме армии, особенно много их на ниве абсорбции. Единственно кто был в порядке, это семидесятидвухлетний кибуцник и социалист, заместитель министра абсорбции Шлема Розе. К нему-то всякий раз и обращался Веритас, чтобы помог он нагрывшим из СССР знаменитостям.

Шлеме Розе Веритас звонил по десять раз на день. И тот по десять раз на день обещал помочь. Но на его пути всегда оказывался очередной шмок, и дело не сдвигалось, и Веритас звонил снова, и снова повторялся вчерашний разговор.

"Шлема, ты помнишь, я вчера тебе звонил насчет ссуды знаменитому актеру Паничу?" То, что произносилось на другом конце провода, мы не слышали, но, похоже, что знаменитый актер Панич не запал в голову Шлемы с такой же силой, как в голову Веритасу... "Нет, Шлема, то был Калик — знаменитый советский режиссер, а это — Панич, знаменитый советский актер. Пожалуйста, Шлема... Что? Нехемия не хочет? Передай ему, что он — шмок. Так, я завтра тебе позвоню. Большое спасибо".

Если можно себе представить теневой кабинет при министерстве абсорбции, то его как раз и возглавлял Рувен Веритас. От всех теневых кабинетов мира от отличался тем, что хотя и находился в тени, но не имел никакой абсолютно власти, кроме права названивать Шлеме Розе и требовать от него помощи еврейским знаменитостям из СССР.

По субботам Веритас появлялся у меня в гостях в Бейт-Бродецком. Почему-то всегда без своей жены Рути, но всегда

нагруженный яствами: фисташками, бананами, шоколадом. Жена покупала по такому случаю целую сумку куриных крылышек. Из чемодана извлекалась очередная бутылка столичной. За столом собирался весь цвет Бродецкого во главе с Барским, и начинался пир. Больше всех ел и пил сам Веритас, отчего становился еще круглее и добродушнее, а выпив, тотчас же затягивал революционные песни — он знал их несметное множество еще со времен службы в Латышской дивизии, где славился своим басом, и всю войну был ротным запевалой.

Впрочем, не находя у нас поддержки, он быстро умолкал, после чего его большая круглая голова бессильно падала на грудь и он начинал тихо посапывать. "Ну вот, Рувен уже спит, пора домой", — следовало заявление Левы Гринберга. "Я сплю?! — просыпался Веритас, — кто тебе сказал, что я сплю? Это только кажется, что я сплю", — и в подтверждение того, что он бодрствует, затягивал: "Орленок, орленок, мой верный товарищ...". На большее его не хватало, и его круглая голова снова скатывалась на грудь. Гринберг решительно вставал, а проснувшийся Веритас вдруг начинал всех убеждать, что еще рано: "Куда ты спешишь, Лева, тебе что — завтра на работу. Посидим, выпьем... широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек, я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек!" Он просыпался именно тогда, когда все поднимались. Затем он усаживался в мою или Левину машину, где снова засыпал и уже не просыпался до самого дома.

Однажды Веритас привез с собой в Бродецкий самого Шлему Розе, который оказался пресимпатичным старичком с большой седой шевелюрой и тяжело передвигающимися ногами. К его приезду наш номер был набит до отказа — пришли дочери Михоэлса — Тала и Нина — и его внучка Виктоша, и писатель Изя Йонас, и Шатров... На председательском месте подобно старенькому китайскому божку восседал Шлема Розе и, накладывая себе всякой снеди, не прекращал пить за успехи новой алии. По правую руку от него сидел писатель Изя Йонас, автор опубликованной в "Юности"

и широко нашумевшей в России повести. А по левую — Лева Барский. Он говорил все обратное тому, что пытался утверждать Йонас и всячески защищал Шлему Розе от его нападок.

Впрочем, Шлема не только ел и пил, он еще извлекал из своего бокового кармана записную бумажную книжечку и что-то в ней помечал. Делал он это обычно тогда, когда его о чем-то просили. Он записывал нужную фамилию или дату в эту свою книжечку и тотчас препровождал ее обратно в карман. Поскольку у него их было много, он забывал, в какой именно он ее клал, и каждый раз, желая что-то записать, искал ее снова. В такие минуты к нему на помощь приходил Рувен. "Что ты ищешь, Шлема, что? — спрашивал он, — записную книжку? Так ты же ее только что держал. По-моему, ты положил ее в брюки? Ты брюки проверил?" После чего Шлема лез в брюки и без труда находил книжку, которую опять засовывал неизвестно куда.

Первой взялась за замминистра Тала Михоэлс, которая без всяких обиняков стала у него допытываться на идише: "Послушайте, Шлема, можно я задам вопрос? Только прошу не обижаться. Мы сегодня выпили, и я по-простому. А вопрос у меня такой: почему ваши подчиненные все время врут новым олимам? Зицер врет, Шварцман врет — все врут!"

Шлема начал беспомощно озираться, явно не ожидая такого напора. Он снова записал что-то в свой кондуит. Затем снова припал к уху Веритаса и тот перевел: "Господин Розе сказал, что мы пришли сюда не ругаться, а искать пути для сотрудничества и потому он предлагает тост за присутствующих здесь новых олим из Советского Союза". — "Пра-ль-но!" — гаркнул из самого дальнего угла Шатров, а Шлема, придвинув к себе тарелку с фаршированной рыбой, вскинул стопку, которая, пока он ее вскидывал, наполовину разлилась, но вторую половину он все-таки допил, а допив, сказал, что он не хочет больше сегодня заниматься делами, а хочет праздновать и веселиться с такими хорошими людьми, которые оказались в этой комнате. Он хотел положить себе в тарелку еще кусок рыбы, но ему явно не везло. По дороге рыба сва-

лилась у него с вилки, и на помощь к нему пришла Тала — она собственноручно положила гостью другой кусок. И он уж было совершенно умиротворенно принялся за него, но неожиданно в разговор вмешался Изя Йонас. Он заявил, что хочет обсудить с господином Розе вопрос, связанный с развитием культуры в Израиле. Шлема попытался отшутиться: по этим вопросам надо обращаться к министру культуры Игалу Алону, а его сфера — это абсорбция новых олим. Но от Изи оказалось не так-то просто отделаться. Он сказал, что его как раз и интересует не культура вообще, а культура в сфере абсорбции, а уж раз речь зашла о культуре вообще, то ее-то как раз государству Израиль и не хватает.

— Ишь ты! — неожиданно ожил сидящий по другую сторону от Шлемы Барский. — Приехал учить Израиль культуре! Да развивай ты эту свою культуру, сколько хочешь — кто тебе мешает!

На это Йонас ответил, что развивать культуру — это функция каждого цивилизованного государства, и если Израиль считает себя таковым, то он не может остаться в стороне.

— Да если хочешь знать, Йонас, тебе это государство вообще ничем не обязано. Холодильник получил? — Получил. Крыто дали? — Дали. Вот и скажи спасибо, а то культуры ему не хватает.

— Знаешь что, адони Барский, — я разговариваю в конце концов с господином Розе, — вдруг потерял терпение Йонас, — и хотел бы услышать от него ответ.

— А он, может, не хочет отвечать на твои глупости, — уже завелся Барский.

— Почему же это глупости?!

— А потому что глупости! Ты при капитализме живешь, понял! Есть деньги — живи. Нет — ложись и подыхай, — рассмеялся вдруг Барский.

— Иврит учите! — крикнул из своего угла Шатров.

— Во, правильно, — поддержал его Барский, — а то культуры ему не хватает.

— Лехаим! — уже с трудом поднял руку Шлема Розе и что-то шепнул Веритасу, который сразу же перевел:

— Господин замминистра хочет сказать тост.

Шлема медленно поднялся и заговорил, а Рувен продолжал переводить: "Господин Розе сказал, что он прежде всего протестует против того, чтобы его называли господином и просит называть его товарищем, поскольку он принадлежит к левосоциалистической рабочей партии МАПАМ. Ему также было бы приятно, чтобы и все присутствующие называли друг друга товарищами, и он думает, что это не составит им большого труда, поскольку все они выросли в стране социализма, и, хотя он, Шлема Розе, против такого социализма, но он как кибуцник никак не против слова "товарищ", а наоборот, считает, что все, кто здесь собрался, и есть настоящие товарищи".

— Ну уж это дудочки, — снова отозвался Шатров. — Гусь свинье не товарищ!

— Что он сказал? — спросил Розе у Рувена вдруг на идиш.

— Что он сказал! Тебе, Шлема, это очень важно знать! Шмок! — сверкнул Веритас в сторону Шатрова. И Шлема, добродушно улыбаясь, снова попросил его переводить. "Товарищ Розе хотел бы воспользоваться случаем, чтобы пригласить всех присутствующих на вечер в клуб партии МАПАМ Цафта. На повестке дня — будущее израильского социализма, а затем концерт израильских артистов".

— Bravo! — закричал Шатров. — Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

— Что он сказал? — снова почему-то на идиш обратился Розе к Веритасу.

— Он сказал: пролетарии всех стран, соединяйтесь! — засмеялся Веритас. — Послушай, Виктор, откуда этот шмок? — обратился ко мне Рувен и, не дождавшись ответа, выкрикнул: — Друзья, я предлагаю тост за нашего дорогого гостя, товарища Шлему Розе!

— Лехайм! — воскликнул Розе и, пошатываясь опустился на стул.

— "Вихри враждебные веют над нами, темные силы нас злобно гнетут, — затянул Веритас, — в бой роковой мы вступили с врагами, нас еще битвы жестокие ждут..."

— Вот, Йонас, а ты говоришь — культура, — снова ожил Барский, — деньги есть — живи, денег нет — не пизди. А ты, Веритас, уже готов, спишь!

— Кто это тебе сказал? — разлепил веки Веритас и вдруг во весь голос затянул: — "Выходила на берег Катюша..."

— Во-во! Он нам будет говорить! — засмеялся Барский. — Вы лучше скажите, а кто этого товарища повезет домой?

Только теперь мы заметили, что Шлема тихо посапывает на своем месте...

...И вот, перепрыгнув в другую эпоху, я снова в Бейт-Сололове. Вхожу все с той же улицы Каплан. Десять ступеней вверх. Небольшое лобби. Еще одно. И, наконец, кафе, за стойкой которого так же, как десять лет назад, и такой же тонкий, как русская березка, официант Менаше. Кафе пусто, несмотря на обеденный час. Ни одного знакомого, и лишь единственный Веритас на своем месте. Как он изменился! Нет, не просто похудел или сдал. Это было совсем другое. Из прекрасного воздушного шара выпустили воздух, и китайского мандарина с веселыми еврейскими глазами больше не существовало. Человек, обычно сидевший на его месте справа за вторым столиком от стойки, был как две капли воды похож на него. Но это не был он.

— А, Виктор, как дела? — сказал Рувен тоном не то чтобы равнодушным, а таким, каким говорят люди, когда надо как-то заполнить молчание.

— Спасибо, Рува, а как ты? — воскликнул я обрадованный нашей встречей.

— Как жена, как дочка? — посасывал он сигарету.

— Спасибо. Как Рути? — спросил я, почувствовав, что мой тон меняется.

— Ты хочешь что-нибудь выпить? Кофе? Соду? — спрашивает он, видя, что я стою в нерешительности.

— Пожалуй, — отвечаю я и присаживаюсь единственно ради приличия, как это делают люди, чтобы избежать возникшей неловкости...

Я вспоминаю, как однажды мы с ним были в Иерусалиме. Это было еще в ту, прошлую эпоху, когда он меня любил и

был похож на китайского мандарина с еврейскими глазами. Мы были, значит, в Иерусалиме, и он повез меня в Бейт-Агрон — в иерусалимский Дом журналиста. И когда мы спускались по лестнице, он вдруг шепнул мне: "Смотри, Бегин. Сейчас полезет целоваться. Комедиант!"

Действительно, навстречу нам поднимался по лестнице тогдашний глава оппозиции Бегин. Я-то узнал его сразу, но удивительно, что и он вроде бы узнал меня (то ли по фотографиям в газетах, то ли ему сказали сопровождающие). "Господин Пэрэльман! — воскликнул он на чистом русском языке, — приветствую вас с приездом на историческую родину!" Он хотел было обнять меня, но, не встретив ответного желая, сказал: "Желаю большого успеха!" и стал подниматься вверх, а мы с Веритасом спускались вниз.

— Ты веришь хоть одному его слову? — спросил Веритас и, не услышав ответа, продолжал: — Это же актер, и вся партия у них такая. Скажите — он желает большого успеха! Очень они думают об алии. Ах, ах — отказники! Ах, ах! — Демагогия! Ему просто голоса нужны. Вот что ему нужно!"

А другой раз мы были на свадьбе у его друга. Веритас по-обыкновенно много пил и много ел и, конечно же, пел: "По долинам и по взгорьям!.." Свадьбу справляли в саду, и кто-то, кажется, Лева Гринберг спросил: "А что, Авраам (так звали его друга) — член нашей партии?" — "Член! Член!" — засмеялся Веритас. И вдруг, став серьезным, добавил: "Смеетесь? Смейтесь, смейтесь. Вы еще не знаете этой партии, какая у нее сила. — И уже совсем серьезно и не к моменту торжественно воскликнул: — Эта партия — единственная за алию!"

Где теперь эта партия? И где алия? И где моя революционная молодость? Я не заметил, как Бейт-Соколов стал наполняться посетителями. Начался невообразимый гам. Над столиками висели клубы дыма. И всюду неизвестные мне лица — министры, члены Кнессета, влюбленные, любовники... А между ними танцует с подносом стройный, как русская березка, официант Менаше.

— Рувке! — кричит он над самым нашим ухом. — Третий раз тебя зову! Ты рыбу-фиш заказывал?

Рувке согласно машет рукой, и рыба-фиш, украшенная так, как только мог украшать Менаше, ниспускается к нам на стол. А Рувен аппетитно причмокивает и размахивает вилочкой, и к нему подсаживается девочка-солдатка, и они весело о чем-то своем смеются...

А мне как будто бы пора. В другую эпоху. В 83-й год. В страну самой высокой цивилизации, где не будет Бейт-Соколова с Рувкой Веритасом — китайского мандарина с еврейскими глазами, и не будет этого вселенского балагана, где каждый второй или "шмок", или гений, или член Кнессета, а иногда и то, и другое, и третье. А будет высшая цивилизация, где с экрана моего телевизора выползает гигантский гамбургер в развернутой пасти и с того же экрана очаровательный старичок-актер строит мне глазки и говорит о благе Америки. А из окна кабинета я увижу дом моего соседа Винограда, к которому по викендам со всего штата Нью-Джерси съезжаются его еврейские родственники и который каждое утро сдувает пылинки со своей новенькой "Субары".

Продолжение в № 75.



Аркадий ЛЬВОВ

ПРЕКРАСНЫЙ КОНЕК-ГОРБУНОК

— У вас загар с изморосью, а у меня загар с утомлением.

— Не понимаю.

Он смотрел на меня удивленно:

— Я говорю, у вас загар с изморосью, вы блондин, а у меня с утомлением. Изморось — это мелкий моросящий дождик, а утомление...

— Я знаю, что такое утомление.

— Вы поняли, — сказал он уверенно, — я так и думал, что вы поймете: у вас контактные пальцы.

Я посмотрел на свои пальцы — они лежали, расслабленные, на диване, сантиметрах в десяти от него.

— Они живые, — сказал он, склонившись ко мне, как будто поверял тайну.

Я рассмеялся:

— Живые, конечно: я живой — и мои пальцы, естественно, живые.

— Нет, — произнес он вдруг резко, — у них своя жизнь,

они гомункулусы — у гомункулусов своя жизнь, и мы ничего об этой жизни не знаем.

— Но, — возразил я, — это все-таки мои пальцы, и я могу управлять ими, я могу заставить их ползть даже в огонь, если захочу этого.

Он улыбнулся покровительственно, мягко, без досады;

— Я был на войне, в седьмой роте, в моей роте было семь миллионов человек, и все они лезли в огонь. Как вы понимаете это?

— Ну, знаете ли, этот пример...

— Нет, — прервал он меня, — это именно тот пример... если вы, разумеется, не лишаете их права называться гомункулусами. По-латыни гомо — человек, гомункулус — человечек. Вы думаете, они хотели погружаться в пламя? Они лезли в огонь, а им хотелось полежать на солнышке, послушать, как щебечет травка...

— ...птицы, — поправил я.

— ...послушать, как щебечет травка, — продолжал он спокойно, — поговорить с деревьями и природой-нашей маманькой.

— Разговор человека с деревьями и природой — поэтический образ, не больше.

— О, — воскликнул он, — как вы заблуждаетесь! Разговор человека с человеком — да, всего лишь поэтический образ, а разговор человека с природой — настоящий разговор. Природа-наша маманька все языки понимает, а вот вы, разве вы понимаете мальгаша или далай-ламу, или хотя бы турка. Вы даже турка не понимаете, хотя турки совсем рядом. Вы даже грека не понимаете, который живет в одном с вами коридоре.

— Среди моих соседей нет греков.

Он сокрушенно покачал головой:

— Вот видите, вы и своего соседа-грека не знаете. А он каждый день разговаривает с природой-нашей маманькой, и я слышу каждое их слово. Встанем, — он поднялся с дивана мягко, осторожно и меня предупредил, чтобы я не причинил дивану боли резким движением, — подойдем к окну.

За окном под тяжелым июльским солнцем цепенели деревья. "У акации, — сказал он, — загар с изморосью — видите, листочки дрожат мелко-мелко — а у каштана и клена с утомлением — их листья устали, они держат на своих плечах солнце".

Он поднял палец и задержал его перед губами, не касаясь их: тише, пожалуйста, тише!

— Слышите! — прошептал он радостно. — Слышите!

Я не слышал ничего, даже шелеста, даже шороха не слышал, а он, ликующий, смотрел на меня и безостановочно шевелил губами: слов не было, но, вне всякого сомнения, он произносил слова, следуя какому-то голосу.

Затем, секунд десять, он стоял неподвижно. Я терпеливо ждал. Наконец, он улыбнулся и сказал, что свой разговор с природой-нашей маманькой деревья закончили.

— Вы слышали весь разговор?

— Почти: иногда голос солнца отвлекал меня. Я не умею концентрировать своего внимания — это у меня с детства.

— Я могу узнать, о чем они говорили?

— Можете? — изумился он. — Вы не только можете, вы должны. Деревья говорили: природа-наша маманька, мы любим тебя, ты наша маманька, ты наша маманька, мы любим тебя.

— И это все?

— Все? — опять изумился он. — А разве к этому возможно добавить еще что-нибудь?

— Ну... — замялся я.

— Вы заблуждаетесь, очень заблуждаетесь, — сказал он сострадательно. — Бернард Шоу... вы, конечно, не забыли его, хотя за семьсот семьдесят семь лет можно и забыть человека... утверждал, что написать слово "нет" возможно только пятью способами — "нет" с точкой, многоточием, восклицательным и вопросительным знаками врозь и вместе, — а произнести пятьюстами различными способами. Но Бернард Шоу говорил о человеке, который очень мало может, а природа-наша маманька все может. Даже человек в этом тексте произнес бы три с половиной тысячи слов, а природа, — он задумался на мгновение, — в сто семь раз больше.

— Сколько же всего?

— Больше миллиона, — ответил он уверенно.

— Но три с половиной тысячи на сто семь — триста семьдесят четыре тысячи пятьсот!

— А еще на три умножить это число вы забыли.

— Почему на три?

— Как почему! — оторопел он. — А разве вы не знаете, что надо все умножать на три?

— Не знаю,

— Странно, очень странно, — забормотал он. — Значит, все страдания человека, которые видит ваш глаз, все стоны человека, которые слышит ваше ухо, вы не умножаете на три?

— Нет, — признался я, — не умножаю. Да, но почему именно на три, а не пять, скажем, или семь?

— На семь, — сказал он, заглядывая мне в глаза, — тоже можно. Как вы узнали об этом? Никто, кроме природы-нашей маманьки и меня, прежде этого не знал. Странно, что вы не знаете про число три, а про семь знаете.

Он смотрел на меня с улыбкой, но это была притворная улыбка человека, который не решается еще прямо объявить вам, что разоблачил уже вас, но вместе с тем и не считает нужным целиком скрывать это разоблачение.

— Хорошо, — сказал он, — не будем играть в прятки, но давайте договоримся: семь правителей — это наша тайна, никто в Космическом государстве не должен о них знать, иначе мы никогда не излечимся от мировой ангины и мирового инфаркта.

— Семь правителей? — переспросил я, подчеркивая свое неведение. — Я не знаю, каких правителей вы имеете в виду.

— Не надо, — рассмеялся он, — не надо играть в прятки: я все равно не назову их по именам.

— Но вы совершенно убеждены, что их было семь?

Загнув один за другим семь пальцев, он уверенно, очень уверенно сказал:

— Совершенно.

— А мировая ангина и мировой инфаркт — давно они поразили человечество?

— Давно, — произнес он проникновенно. — Разве в школе вам не говорили об этом? Правда, — спохватился он, — там их называют иначе: рабовладельчество, феодализм, папский нунций и фашизм.

— А почему папский нунций?

— Почему! — вскочил он возбужденно. — Папский нунций продавал индульгенции об отпущении грехов убийцам природы-нашей маманьки, и папа Александр Борджиа жил со своей дочерью Лукрецией, и сын его, Цезаре, жил с ней. А потом они проезжали в черной машине по улицам вечного города, высматривали красивых женщин, нунции хватали этих женщин и бросали на папино ложе. Каждая женщина была папе всласть только один раз — потом он бросал ее в колодец.

— Какой колодец?

— Какой! — повторил он раздраженно. — Тот самый, который был у него под спальней — будто вы не знаете! И еще крестовые походы против турок затевал, как будто природа ему велела, а на самом деле смуглые девушки нужны были ему.

— Вы запомнили: при Александре Шестом Борджиа крестовых походов не предпринимали. Александр Борджиа — это конец пятнадцатого века. Кстати, и автомобилей тогда еще не было.

— Поразительно! — воскликнул он. — Поразительно, как блудите вы в хронологии.

— Блуждаю?

— Блудите — блуждаю неправильное слово, обманчивое, с маской на глазах, Александр Борджиа умер семь дней тому, — он задумался, а затем решительно повторил, — да, точно, семь дней тому. Нунции похоронили его в соборе святого Владимира, а природа-наша маманька выбросила его оттуда через три дня и четыре часа. Если бы он пролежал там еще семь часов, мировой катарг погубил бы человечество.

— Почему катарг?

— А что же еще? При ангине в горле образуются нарывы — катарги.

— Катар, вы имеете в виду.

— Катарги, — повторил он укоризненно, — от этих катаргов человеку трудно дышать, а когда природа-наша маманька не вдвует нам в сердце кислород, мы умираем. Вот закройте рот и нос — видите, кровь ударила вам в лицо, она хочет выйти наружу, чтобы природа напоила ее кислородом.

Верно, у меня в самом деле появилось ощущение, будто что-то изнутри вырывается наружу, стремясь восстановить утраченный контакт. Я попытался переменить позу, он заметил это и сказал: не надо суетиться, суета никогда не идет человеку на пользу, она только заглушает голос природы.

— Но все-таки, — возразил я, — нельзя же до бесконечности сохранять утомительную позу.

— Нельзя, — согласился он. — Но поворачиваться надо очень осторожно, потому что при резких поворотах рвутся золотые лучи, которые держат наше тело в вертикальном, горизонтальном и наклонном положениях.

— Вы говорите о лучах солнца?

— Если вам так удобно, — пожал он плечами, — можете называть их лучами солнца. Но само солнце тоже держится на этих лучах.

— Нет, — сказал я решительно, — вы ошибаетесь: солнце — источник света, а лучи, которые мы видим, просто пылинки, пронизанные солнечным светом. За пределами нижнего слоя атмосферы, где нет этих пылинок, вы не увидите никаких лучей, хотя от Земли до Солнца полтора-два миллиона километров.

Он тяжело вздохнул и покачал головой:

— До солнца около ста пятидесяти метров.

— А точнее?

— Сто сорок семь, я делал измерения семь раз, и всегда получалось это расстояние — сто сорок семь метров. Если бы до солнца было, как вы говорите, полтора-два миллиона километров, даже наши самолеты, которые летят дальше всех и выше всех, не могли бы подняться над солнцем.

— Температура солнечной поверхности шесть тысяч градусов, а солнечных недр — миллионы градусов, жизнь в ста пятидесяти метрах от такого пекла невозможна.

— Странно, — пробормотал он, — странно, вы точно знаете температуру солнца?

— Это научные данные.

— Ну, что ж, — сказал он спокойно, — тогда понятно, почему у меня внутри семь миллионов градусов: в солнечном сплетении иначе быть не может.

За решетчатым окном, по двору, шагали двадцать три человека. Сначала мне никак не удавалось сосчитать их, хотя у каждого из них был свой строгий маршрут. Он заметил мои затруднения и сказал:

— У каждого своя дорога. Если вы хотите узнать, сколько их, запомните дорогу каждого.

Двадцать три человека шагали за окном, и у каждого был свой маршрут. Эти маршруты пересекались многократно, но столкновений не было ни одного: у каждого было свое время, и каждый знал это свое время.

— Может, и нам выйти во двор? — предложил я.

Он помедлил, затем, не поднимая глаз, раздраженно, как мне показалось, спросил:

— А вы хорошо знаете свою дорогу?

— Здесь, во всяком случае, я никому не помешаю.

— Здесь! — рассмеялся он. — Можно подумать, что вы человек с двумя дорогами. Природа-наша маманька каждому дает только одну дорогу, но вы, конечно, правы — и на одной дороге можно заблудиться.

Я вовсе не говорил этого — что на одной дороге можно заблудиться, — а он продолжал развивать эту мысль и в конце концов пришел к заключению, что мне, пожалуй, все-таки можно погулять во дворе — за решетчатым окном.

Двадцать три человека шагали по двору молча, сосредоточенно, с неизменной скоростью. Минут уже через десять я поймал себя на том, что это постоянство их скорости тревожит меня, и я откровенно жажду срыва графика здешнего движения.

— Скажите, а случаются все же у них столкновения?

— Столкновения? — повторил он удивленно. — Нет, столкновений здесь не бывает. Когда люди знают, куда они идут и зачем, столкновений не бывает.

— Ну нет, — возразил я, — дороги человеческие пересекаются множество раз, и все зависит от времени. Случается, к пересечению люди приходят одновременно.

— Да, — согласился он вдруг без колебаний, — и тогда происходит мировой катарг. Но здесь этого не бывает.

Он смотрел на меня в упор, глаза его были добрые, с язычками рыжего пламени, как у керосиновой лампы, — язычки едва потрескивали, и в июльский полдень я ощутил прелесть зимнего вечера, когда весь мир погружен в благополучие оттого, что в моем доме тепло.

— Послушайте, — спросил я внезапно, с раздражением, которое неизвестно откуда и почему пришло, — давно вы болеете?

— Я не болею, — ответил он очень спокойно.

— Но зачем же вы тогда здесь?

Он улыбнулся:

— Я могу задать вам тот же вопрос: а вы?

—Я?

— Да, вы. — Я обдумывал ответ, но он поднял руку, освобождая меня от необходимости отвечать. — Не надо, ничего не объясняйте: раз вы здесь, значит, так хочет природа-наша маманька.

— Нет, ошибаетесь: этого хочу я сам, и природа здесь ни при чем.

Он рассмеялся:

— Вы, как ребенок: наша маманька с вами шутит, в прятки играет, а вы думаете, что уже в самом деле большой и самостоятельный. Я тоже раньше так думал.

— А теперь вы знаете правду?

— Теперь я знаю правду, — кивнул он просто, как будто речь шла о таких бесспорных предметах, как дерево, камень или садовая скамья, на которой мы сидели.

— А если бы все люди знали эту вашу правду, что тогда?

— Это не моя правда, — возразил он, не повышая голоса, хотя, если судить по его глазам, он готов был сделать мне суровый выговор, — это правда нашей маманьки, природы. Мы ее дети, она растит нас и воспитывает, а мы шалим. И от на-

ших шалостей получается мировая ангина и мировой катарг. Дети убивают друг друга, бросают бомбы и сжигают города. Я тоже бросал бомбы и сжигал города, и в поезда бросал бомбы. Поезда ехали по рельсам, а я бросал в них бомбы, чтобы они не ехали по рельсам. Потом все говорили, что это нехорошо, что так поступать нельзя, и обещали быть послушными и добрыми.

Он опять смотрел на меня в упор, и опять глаза его были добрые, с уютно потрескивающими язычками рыжего пламени. Они были добрые, спокойные и на редкость здоровые, его глаза. Мне снова захотелось спросить, почему он здесь — почему, если он не болен и притом сам знает, что не болен.

Я не успел задать этого вопроса — он стремительно, так что просто невозможно было предвидеть его движения, оставил скамью и быстрым легким шагом сухопарого человека направился в угол двора, по диагонали. Дорога его пересекла двадцать три другие дороги — я не знаю, видели его или не видели те, двадцать три, и даже не знаю, видел ли он их, но столкновений не было, хотя он шел по прямой с неизменной скоростью, на которую не влияли остальные двадцать три скорости.

В углу двора он присел на корточки. Поковыряв землю пальцем, он несколько раз опустил щепоть в ямку, причем последние его движения были отмечены предельной осторожностью.

— В этом месте, — сказал он, — земля уже напилась и наелась. Вы заметили, она с трудом доедала котлетку, и мне пришлось ее уговаривать, потому что она хотела выплюнуть ее или проглотить неразжеванной. А теперь она хочет кушать и пить вот здесь.

Передвинувшись метра на полтора, он опять поковырял грунт пальцем и несколько раз коснулся щепотью дна ямки.

— Все в порядке, — сказал он с улыбкой, — но еще немного — и катарг опередил бы нас. Вы заметили это сами.

— Нет, я не заметил этого. Я не мог этого заметить, потому что не знаю, как определить, где именно земля голодна и где именно томит ее жажда.

— Странно, — пробормотал он, — очень странно, а мне казалось, вы всегда знаете, как нужно расположить свою руку или ногу, или тело, чтобы им было удобно.

— Позвольте, но ведь сейчас вы говорите о моих органах, то есть обо мне самом — естественно, я не могу не знать, чего мне хочется.

— А она, — он опустил руку к земле, — она разве не вы? Разве вам не больно, когда ей больно? Разве вы не задыхаетесь, когда ей душно, и разве не горит ваше тело, когда горит земля? А насчет желаний... извините, но я не понимаю, как можно всегда точно знать, чего хочешь. Если бы мы в самом деле всегда знали это, не было бы мировой ангины и мирового инфаркта. И катарга не было бы. И войны.

Произнося последние слова — о катарге и войне, — он медленно, осторожно, опершись ладонями о колени, поднимался, и кисти его, по мере того как он выпрямлялся, скользили вверх по застиранным брюкам из серой хлопчатки.

Я спросил у него:

— Вы хорошо помните войну?

Он посмотрел на меня широко открытыми, испуганными глазами, затем, прикрыв веки, прошептал:

— Зачем вы произнесли это слово! Это неправильное слово, с повязкой на глазах. Разбейте его, а колеса выбросьте в... — он задумался на мгновение — в мировую пропасть.

— Куда?

— В мировую пропасть, — повторил он громко, — чтобы черный гриф и бурый сип не могли достать их.

— Но орлы не едят колес — какой смысл опасаться их!

— Вы меня удивляете, — ответил он раздраженно, — вы интеллигентный человек, а рассуждаете, как...

Я ждал оскорбительного сравнения и, видимо, оно уже вертелось у него на языке, это сравнение, но он вдруг засмеялся и сказал:

— ...как слесарь, который ничего не смыслит в орнитологии.

— Вы угадали: в орнитологии я действительно ничего не смыслю. Но при чем здесь орнитология?

— Птицы разносят заразу, — он объяснял покорно, терпеливо, как человек, который давно понял, что невежество пре-

одолеваются не бранью и поношениями, а знаниями, — птицы закрывают солнце, гадят на землю, и природа-наша маманька задыхается от чада, который вьется у них за хвостами.

Он говорил о птицах, он говорил об орлах — грифах и сипах, — но у меня перед глазами тянулась не птичья стая с чадными шлейфами за хвостами, а эскадрильи самолетов с очень черными, без блеска, крыльями, ритмично покачивающимися, нет, не покачивающимися, а всходящими и нисходящими в вертикальной плоскости: земля — небо, небо — земля. От самолетов отделялись черные точки — сначала точки, а потом астероиды: падая, они стремительно увеличивались в размерах, насыщались чудовищной тяжестью, и земля, безумен от страха и ужаса, пыталась спрятаться в собственном нутре, но они все равно настигали ее, всегда настигали, и разворачивали ее нутро.

Я сказал ему:

— Вы говорите о самолетах, о бомбардировщиках, а черные и бурые птицы — это просто символ, поэтический образ. Так?

Он не отвечал, и я повторил свой вопрос:

— Так или не так?

Он чуть наклонился вперед, глаза его нехорошо горели, я улыбнулся, чтобы показать ему: все в порядке, все в норме и ничего такого не происходит. Но глаза его, очень искусные протезы из полированных кристаллов, подсвеченные изнутри, наступали на меня, и я прислонился к стене — он протянул обе руки, я прилип к стене, он положил обе руки мне на плечи, погасил вдруг свои глаза и сказал:

— Вы мой сын. Они похищали мое семя и продавали его. Вы мой сын.

Затем он обернулся и, тыкая пальцем в каждого из тех, шагавших по двору, доверительно сообщал мне:

— И этот мой сын, и этот, и этот.

— Кто украл ваше семя?

— Украл? — удивился он. — Я сказал, похитил. Они похищали, мои жены. И продавали.

— Где продавали?

— На рынке. На Мировом рынке — где же еще продавать?

— Вы ошибаетесь, я не ваш сын.

Он смотрел на меня очень строго, очень сурово, по праву отца, не знающего сомнения:

— Я твой отец, — сказал он. — Я тебя узнаю, а ты меня узнать не можешь, потому что ты был семенем, когда я был уже человеком. Я был прекрасный Конек-горбунок, я скакал по земле, и все женщины понесли от меня. У меня было много сыновей, они пошли друг на друга с камнями, и от этой бойни у природы-нашей маманьки получился катарг.

— А они, — я повернулся лицом ко двору, — они знают, что вы отец им?

— Нет, — ответил он злобно, — не знают: мои жены скрыли от них правду, и братья не узнают друг друга.

— Но ведь вы им объясняли, что они братья по отцу?

— Объяснял, — усмехнулся он, — я и вам объяснял, а толк какой? Сыновья не знают своих отцов, они называют папой всякого, кого мамка велит называть так. Я в газету давал объявление про обман, но бумага была больная, и буквы получились белые — на белой бумаге белые буквы, и никто, кроме меня, не мог прочесть слова про обман.

— Не понимаю, — сказал я, — абсолютно не понимаю, что такое больная бумага.

— Абсолютно! — повторил он с укоризной. — Нехорошее слово, с повязкой на глазах. Вы хотите обмануть себя этим словом. Я говорю, на белой бумаге нельзя было прочесть белые буквы про обман — разве это непонятно? Я семь раз давал объявление, но бумага была больна, и всегда получались белые буквы.

В дверях звякнула ручка — она здесь вместо ключа, и каждый из персонала держит ручку при себе, в кармане. Из дверей ординаторской тоже вынута ручка — это, как объяснили мне, необходимая мера предосторожности, хотя здешняя дверь часто остается незапертой и за многие годы не случилось ничего такого, что придало бы основательность опасениям.

Санитар встал на пороге и крикнул во двор:

— Обед!

— Вам пора? — спросил я.

— Ничего, этот обед, — засмеялся он, — не уйдет от меня.

— Здесь плохо кормят?

— Нет, — возразил он, — не сказал бы, что плохо, но к пище подмешивают всякие гомеопатические дозы, чтобы закрыть мне мысли.

— Ну, нет, — воскликнул я, — не верю этому!

Он улыбнулся, тепло, сострадательно:

— Я тоже вначале не верил, пока сам не увидел. А теперь многие жалуются, что им закрывают мысли и в голове у них, когда они думают, ужасно скрипит.

— Бывает, от боли трещит голова.

— Трещит голова, — произнес он жестко, — это метафора, я говорю о другом — вы отлично понимаете!

Верно, я в самом деле понимал, что он говорит о другом, но какая-то непонятная сила заставляла меня сопротивляться этому пониманию. Хотя нет, не совсем непонятная, потому что я отчетливо ощущал, как растет во мне неприязнь к нему. Он сам заговорил об этом — о моей неприязни к нему, — но очень спокойно, без упрека, досады или какого-нибудь иного недоброго чувства.

— Видите, — сказал он, — у вас ко мне неприязнь: вы мой сын, а сыновья раньше или позже начинают осуждать своих отцов и уходят от них, потому что отцы мешают им. Сыновьям кажется, что они жертвы, а на самом деле жертвы — отцы, которые страдают сильнее и нуждаются в своих сыновьях больше, чем те в отцах. От раздоров с сыном у отца получается катарг. А когда раздоров много, получается мировая анги́на. Или инфаркт.

— Тоже мировой?

Он подумал немного и ответил очень твердо:

— По-разному складываются болезни — бывает и мировой.

Я оперся рукой о дерево, он внимательно осматривал мою кисть, у меня даже появилось ощущение груза, прижимающего кисть к жесткой коре, и сказал:

— Мне кажется, у вас начинается катарг.

Он сказал это спокойно — в словах его не было намека, скрытого смысла или еще чего-нибудь такого, что дало бы мне повод считать себя оскорбленным, но мне захотелось причинить ему боль, прижать его к стене, наступить на грудь,

чтобы он закричал, как кричат все люди, когда им больно: "Отпусти меня — мне больно!"

— Вы лжете! — сказал я.

— Я?

Нет, он не был удивлен — просто ему понадобилось время, чтобы по-настоящему понять эти слова.

— Вы лжете, — повторил я.

— Нет, — возразил он убежденно, — я знаю, что люди лгут, но я забыл, как это делается.

— Врете, — закричал я, — ничего вы не забыли! Вы прикидываетесь только, что забыли, а люди, которым больно, поверили вам. Из жалости. Сбросьте, сейчас же сбросьте свою хламиду и убирайтесь отсюда к чертовой матери! Никакой жалости вам не будет! Не будет.

— Не надо кричать: крик не всегда пробуждает сострадание. Поверьте.

— Овчаренко! Григорий! Долго тебя ждать? — Санитар стоял на пороге, в руках у него были порожние ведра. — Давай иди обедать: девочки умирают за тобой — кушать без тебя не хотят.

Овчаренко захихикал, махнул рукой санитару — иду, сейчас иду! — а когда тот отступил с порога в коридор, прошептал, заглядывая мне в глаза:

— Этот больше всех подсыпает, он — главный подсыпальщик.

— Чего подсыпает?

— Я же говорил вам, гомеопатической дозы, чтобы закрыть мне мысли. От дозы очень помогает самогонка — она дезинфицирует мозг. И еще теплое одеяло помогает — надо хорошо укрыться, чтобы щелей не оставалось и свет не проходил.

— Нет, — сказал я, — под одеялом не спрячетесь! И здесь не спрячетесь, и нигде в другом месте не спрячетесь!

Он смотрел на меня в упор, глаза его были добрые, спокойные, с уютно потрескивающими язычками рыжего пламени. Прижав руки к туловищу, он чуть склонил голову, постоял секунду-другую неподвижно, улыбнулся и четко, но без привычной, предусмотренной правилами резкости, повернулся кругом.

ИЛЬЕ СУСЛОВУ — 50 ЛЕТ

Писателю и журналисту, члену редколлегии журнала "Время и мы" Илье Суслову исполнилось 50 лет. Если можно говорить о коротком периоде Ренессанса в советской сатире и юморе, когда читателям дозволено было улыбаться, то этот период неразрывно связан с именем Ильи Суслова. Это он был создателем знаменитого "Клуба двенадцати стульев" "Литературной газеты", его душой, его бессменным редактором, вырастившим целую плеяду талантливых молодых сатириков.

Выехав на Запад, он стал одним из самых популярных писателей-юмористов нашей эмиграции. В третьем номере журнала "Время и мы" была опубликована его повесть "Прошлогодний снег", которая сразу же принесла ему широкую известность и, по мнению издательства "Индиана юниверсити пресс", представляет собой "один из лучших образцов русской комической прозы, вышедшей в последние годы из России".

Не меньшей популярностью пользуются опубликованные уже в Америке книги: "Рассказы о товарище Сталине и других товарищах", "Выход к морю" и др.

Все мы ждем от Ильи Суслова новых книг, новых рассказов — веселых и талантливых, и нам бы хотелось пожелать ему в день его пятидесятилетия, чтобы сбылись его самые сокровенные мечты и самые дерзкие творческие планы.



Лев МАК

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЕТЕР

ЧУМА

Слахыли ль вы, кто накликал беду?..
 Как выли львы, львы в городском саду,
 Чугунные, катая шар чугунный?
 Как первый заболевший мял виски,
 Хрипел, блевал, нарывы зябко трогал?..

Мужья от страха, жены от тоски,
 но каждый полезал в чумные дроги.

Итак, я расскажу вам о чуме.
 Я увлекусь, красавица, — по мне
 Зараза не страшна, коль пьешь вдвойне:
 (одно спасенье — утонуть в вине).
 Отпей, дружок, и посмотри в окно.
 Пока народ толпится у кино,
 Пока торгуют зельтерской, пока
 Чумные трупы не несет река,

Окрашены заборы, и на них
 Ни ругани, ни свастик меловых, —
 Пока играет гражданам квартет
 Военных оркестрантов (все окрест
 Оглушено, загажено) — пока
 Их марши оседают на снега, —
 Их губы прилипают к мундштукам —

По городу гуляет музыкант.

У граждан не сходило с языка
 Как странно он одет, и как тонка
 — Не толще флейты — узкая рука.

Кора на веках, кровь на башмаках, —
 Как будто бы скитался он века
 Покуда не ступил на эти камни.

Что, этот город, — он спросил их — ГАММЕЛЬН?..

Нет, ГОМЕЛЬ! — отвечали горожане,
 И долго вслед взирали, поражаясь
 Как кожа на устах его суха,
 Плевки в снегу темны от табака,
 Как крыса на плече окаменела,

Как брел по переулку музыкант
 Как пьяно зашатался он и как
 Надтреснутая дудочка запела:

БУДЬ ПРОКЛЯТ ЭТОТ ГОРОД, ЭТОТ РОД
 ПРЕДАТЕЛЕЙ — КОРОВ И МИНОТАВРОВ!
 Я ВЫСВЕРЛЕННЫЙ СУК ВСТАВЛЯЮ В РОТ,
 НА ВСЕ ЖИВОЕ ПРИЗЫВАЮ КАРУ!..

ПАРАДЫ И ЗНАМЕНА НЕ СПАСУТ!
 ПУСТЬ МАТЕРИ ДЕТЕЙ НЕ УНЕСУТ!

ПОКА НЕ ВЫЖЖЕШЬ ИЗ СЕБЯ РАБА, —
 ПУСТЬ ГЛОЖЕТ ТВОИ СТЕНЫ ГОЛЫТЬБА!

ДА БУДЕШЬ ПУСТ И ТЕСЕН! ТВОЙ НАРОД
 В БЛЕВОТИНЕ ПАДЕТ НА ТВОЙ ПОРОГ!

ДА БУДЕШЬ ТЫ ОБЪЕДЕН, КАК ПИРОГ!

ВОТ МЕСТЬ МОЯ! ДА ПРОГРЕМИТ НАБАТ!
 Я СЛЫШУ ТОПОТ СКАЧУЩИХ АРМАД!
 МИЛЛИАРДЫ МСТИТЕЛЕЙ...

Он выкатил глаза, —

И крыса с плеч на лоб переползла.

Отсутствие луны — дыра в небесной тверди,
 Откуда ветер дул, разбрызгивал недуг!

Упал флейтист, и на лице у смерти
 Крысиные хвосты из-под надбровных дуг.

МЕЖДУ ТРЕХ РЕВОЛЮЦИЙ

...Замолчали цикады
 Закричала сова
 Под деревьями сада
 Засияла трава

И мгновенным блаженством
 Уколов из-за туч
 Входит голосом женским
 Ослепительный луч

И какое-то тело
 Не во сне наяву
 За оградой село
 На сухую траву

И незримые руки
 Возложь на висок
 Кто-то льет мне под веки
 Летаргический сок

Запах грубой помады...
 что за женщина рядом?

Цепенеют от страха
 Что за дамский разбой
 Из рта ее пахнет
 Выхлопную трубой

На сосках по контакту
 Кнопка в верхней губе
 Не Клото, не Геката —
 Капитан КГБ,

Манекенша из ада
 Электронный холуй...

Электрическим гадом
 Протрещал поцелуй

Электрический ветер
 Задувает свечу.

Ты готовился к смерти?
 Я тебя научу.

Пусть привыкший к арестам
 Непритворно сопя
 Твой двойник бестелесный
 Поцелует тебя

Оторви его плечи
 Будь с ним ласков и строг

Озираясь и плача
 Пусть шагнет за порог...

Я лежал не дыша
 Безголос и незряч

Но следила душа

Как взлетает палач

Как ругая квартплан

Между трех революций

Смерть летит по делам

На летающем блюдце.

ПОЛКОВОДЕЦ

Сражение закончилось повальны
 Парадом победителей. Значки,
 Знамена и штандарты Победенных
 Глумливо преломив через колено,
 Народ победоносный возвратился
 Гоня рабов и коз перед собою
 В свои необозримые пределы.
 Что делать побежденным? Наш удел
 Предать земле убитых, подобрать
 Своих калек и раненых, назначить
 Других вождей и считать потери.
 Мы выживем. Мы выстроим дома,
 Сожженные, мы вспашем и засеем
 Поля загаженные, чрева наших жен
 Опавшие от голода и горя
 Мы вспучим новым племенем.

Обида

Нас сделает мудрее, — униженье
Научит гордости.

И года не пройдет
Как сей народ удвоится. Не дети—
Солдаты в колыбелях. Через два
Десятилетия я поведу их в битву.
Мы победим. Мы разобьем врагов.
Мы рассечем их от плеча до паха.
Мы на кол их посадим. Мы глаза
Им выколем, мы оскверним их женщин!
Мы не оставим им козы на племя!..
Могучи и богаты станем мы, —
А это хорошо.

Ну что ж, за дело!
Жена, раскрой объятия, — не страсть
А доблесть полководца призывает
Меня на опостылевшее ложе.
Чего только не сделаешь из мести
Врагу! Ну, полно причитать!
Надеюсь, ты рожать не разучилась!..

Январь 1982 г.

СУББОТА

1

Ах, яблочко-розмарин!
Кому тебя раздарил
Татарин пьяный, рябой,
бритой тряся головой
На ярмарке в Бугульме?..
Уж лучше бы сгнил в тюрьме!..

Ах, Роза, моя, татарочка!
Осталась одна фотокарточка
От нашей с тобой любви, —
И та — уголком в крови.

Ты где-то, а я сегодня
В пещере гроба господия,
А завтра, быть может, вне
Жизни, иль на луне, —
Как Лазарь вновь присужденный,
Сижу, прислонясь к стене.

А ты у окна, в метели,
И в оттепели, и в капели
Два года и три недели
Сидишь, завернувшись в плат,
Язычница, гуннка, стад
Овечьих хозяйка, зим
Степных не заметив, дат
Не отмечая, Елена, —
Ждешь, что спасу из плена, —
А я не Парис — кастрат.

Изгнание хуже, чем оскопление.
Только насильственное ослепление
С этой казнью сравнимо в какой-то мере.
Так и сидишь циклопом в пещере,
Тоскливо тасуя родные лица, —
Ни свидеться боле, ни прислониться.

Не ангел с мечом, а погранзасада
Стережет калитку родного сада.

2

Итак, исторической параллелью
Любовь не расскажешь. Рубя поколенья

(По рецепту классика нашей эпохи, —
Еще не Гомера, уже пройдохи,
Нарубившего дров во всех жанрах, впрочем)
Любви не спасти, лишь вспотеешь очень.

Как мне спасти тебя в самом деле?
(А заодно и себя) В неделе
Чту лишь субботу, и ту за то лишь
Что мы повстречались с тобой, коль помнишь,
В субботу у двери рентгенкабинета...
Впрочем, ты помнишь. На белом свете
Не так уже много суббот, которых
Стоит запомнить из ряда новых
Будней и празднеств, чему оплотом
Два года разлуки, сто три субботы.

Вспомни: в субботу, седьмого марта,
На улице Обуха, как на Монмартре, —
Я — спасаясь от топора, —
Ты — от глаза Орды косоного, —
Как два иудея в толпе косоногов,
Прошли, обнявшись, сквозь строй сексотов, —
Я — озираясь, а ты — храбра.

Москва продавала заморские сласти.
Татарочка, я умирал от страсти,
Боялся смотреть на тебя — от счастья
Забыв про напасти и козни Порты,
Ах, Роза, ты помнишь, как мы были горды
Друг другом, восторженны, глупы, богаты, —
Мы ели бефстроганов или купаты
В каких-то шашлычных четыре раза, —
Мы были счастливы, Роза!..

Ах, как ты была бела!
Уж лучше бы ты умерла
От ласк моих в ту субботу,

В пропахшей бельем и потом
Каморке на Малой Трубной, —
Нетронутый, недоступный!..

Ах, как ты сжимала зубы,
Гортанно звала кого-то,
Отталкивала и сдавалась!..
А после все повторялось
Сначала!.. Ах, позабыть бы!.,
Мы были слепы, как рыбы, —
Как змеи, познали гибель,
Перетекли друг в друга...

Мы были готовы к Смерти.

3

А может быть, некто Третий —
Невидим и бестелесен
Из зависти или мести
Над трубами Красной Пресни,
Над мокрым дворовым дубом
Повис, дабы наши губы
Ожгло неземное пламя!..

Я верую, что над нами
С субботы той, с того лета
Клеймом на горячей ране
В невидимой грубой раме
Висит неземное вето, —

Что все, до скончанья века,
Ценою субботы этой
Оплачены поцелуи
Мои и твои — с другими...

Исполнена смысла кара.

Татарочка, помнишь вишни
В кульке из рентгенограммы?..

ГОЛЛИВУД

Святая роща, где Горгона-слава
С повязкой на гноящихся глазах
Мычит постыдно, призывая смертных
Совокупиться с нею.

Истуканы

Мадам Тиссо расскажут о мгновенье,
Когда повязка сорвана и ярость
Ненасытимой твари раскаляет
Ее невыносимые зрачки.

1981 г.

ОСЛАБЕВШЕЕ ЭХО МОГУЧЕГО ЗВУКА...

Ослабевшее эхо могучего звука
Затихает в потомках. Лицо еврея
Выпавшего в свободу из русского плена
Уже не похоже на Божье.

Прямой наследник

Моисея, Давида, Христа и Павла
Копшится в ничтожном, пытаюсь выжить
В новом мире,

где не говорят по русски и верят в Бога.

Медная нить из золотого убора, он
Жаждет блага.

Благость ему уже незнакома.

1981 г.

ХРИСТОС

Глядя на мир с невысокой горки,
Дуновением уст отгоняя слепней,
Видя перья на касках стражи,
Ожерелье из драхм на груди сирийца,
Блеск закатного солнца на жалах копий,
Слыша ржанье коней и всхлипы
Трех Марий, в ожидании смерти,
Пусть нелегкой, но скорой, скорой

Думал ли он о своем народе,
Что писал и вещал о его приходе
Все предыдущие эры, эту
Не отличив от обильных страданием прочих, —

Знал ли, что сделает папа-кесарь,
За деревьями не узревший леса,
С государством людей, не узнавших Бога
В слабоумном пророке с большой дорогие?..

Броневые плиты, буи и вежи,
Шпанские мушки, петарды, пули,
ДДТ, синтетика, пылесосы,
Блиндажи, бидоны, бинты, бинокли,
Огнеметы, танки, овчарки, гимны,
Сапоги, катоды, ракеты, гербы, —

Вот, чего он еще не знает
На вершине смерти своей и славы,
Приколоченный символом к новой эре
Мук и бесплодных стремлений к счастью.

Июнь, 1974 г.

АВГУСТ В ОДЕССЕ

Звезды сыплются в город
 Будто яхонты в ларь.
 Над зарезанным вором
 Раскачался фонарь.
 Окруженный стеною
 Неприступных домов,
 Млечный путь над тобою,
 Как светящийся ров.

Слышен говор картавый
 Из-за млечных борозд.
 Над еврейским кварталом —
 Семисвечники звезд:
 Свой народ Иегова
 В августовскую ночь
 Обрекает на голод
 И закрытие почт,

Ибо жизнь — лотерея.
 Сунешь руку в мешок —
 Бог советских евреев
 Над твоею душой
 Наклонится, как лекарь,
 Замаячат вдали
 Милосердие снега,
 Неприбранность земли.

СМЕРТЬ ПОЭТА

Был август запахами полон.
 В радиорупор выл вития...

Но для тебя в тот жаркий полдень
 Дохнуло холодом светило

Поднялись жаворонки с пашен,
 Привстали мертвецы в гробах,
 На кирпичи распались башни, —
 Лишь для тебя!..

Лишь для тебя

Архангел девственной слюною
 Смочил божественный мундшутк —
 Над жизнью, связанной тобою,
 Над теплой твердью, над водою,
 Над жаждой, ужасом, любовью, —

Чудовищный повис тот звук.

Уж ты сползаешь мимо нас
 В свое великое беспутье,
 В страну ауканий, отсутствий,
 Где долго эхо, где пасутся
 Овны и львы, где волопас
 Тебя спасет от здешних судий, —
 Где над твоею новой сутью
 Невластна никакая власть.

Так я тебя не уберег.
 Кренился овощной ларек,
 Хрипел и квакал репродуктор.

Меж луковиц и сухофруктов,
 Между сандалий и сапог
 Ты жил, пока не изнемог.



Савелий ГРИНБЕРГ

ОСКОЛКОВЩИНА

ВРЕМЯ

Время отбудущено.
Но корабль
на подходах
в глубокую бухту.
На палубах
прокатывающиеся реплики
рассказчиков
превращающихся в собеседников.

ОТ ПОЖУХЛОЙ ЛИСТВЫ

От пожухлой листвы
к родникам высокогорным
Бражники да чашники
Разлапых лиственниц или тогдашних каштанов

ОСКОЛКОВЩИНА

103

шатры.
Зеленое чудовище природы. Но только эта осень
зажглась
иначе
Загнутая в горизонты.
Пойдут снега.

КОГДА ЗАБОЛЕЛА ЭТА ЗЕМЛЯ

Когда заболела эта земля?
Когда заболело это болото?

—Что
склепано
крепче?
Бревенчатая кладовая
с продолбленным на улицу глазком
Или Растоптанная подворотня
— Гулкий двор — Ступень к ступени —
Комната
Посередине печка сложена из кирпичей
Зиме навстречу
Труба жестяная коленом
выведена в верхнюю фрамугу
Похоже
застряла с ходу —
Нога великана в черных доспехах.

Когда заболела эта земля? Да кто тут старше?
Может быть, ты, а может быть, ты.
Тут вроде все из тех, кто старше.
На сколько? На целую страну
На целую планету старше.

Открыта заново.
Лесные чащобы на взгорьях. На холмах скалистых.

Когда отбиты
первые кони
на первых уступах.

НАВЕВАЮЩИЙ МЕРТВЫЕ СНЫ ГАОЛЯН

Снова мосты. Снова дороги вдаль
Ветер колышет всходы полей
Тени прибрежных роц

Снова мосты. Снова дорога вдаль
Ржавые тучи на всходах полей
В разрывах осенних гроз

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

Местонахождение
Непробудное небо
Когда внезапным рывком
В другое измерение
В другое
На сгибах земли
определи Ответь
Всей звездностью
Когда внезапным шквалом
в другое
Все предыдущее отброшено
Утро в разорванных выкриках
От первых полустанков
Вздымающаяся ночь в изломах луны
Города закатов Огнедымно
Закаты городов

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА ДНЕВНИКОВИНОК

Над гранью города
трубовье.
Промятые баллоны дыма.
Река
завернутая туго
в бетон
застегнутая на мосты.

Над нами выломано небо.
Переулок
раскрыт
и снова сглодан
изгибаясь
хребтом люминесцентных ламп.

Далекое, глухое рокотанье,
уловленное лабиринтами изогнутых глубин.

Резные купола
на воротах
по косогору на спадах выкругом
скатанные шинели тесно на спинах
уходящих в поход
в ночное скривище.

Когда в каменной оттопыренной
Чешуе
чудоптицерыбий
куполами-губами
крестами-якорями
город
уткнут
испить
прибой
в волны неба.

Открытое небо.
 Заотражалась
 лебедеобразная.
 В перемотках лучей
 археокрылатой фауны.

Город вдруг погружен.
 В глубокое исчезновение.
 Только соборы вне времени и вне погод.

Здесь в этом здании бывал не раз
 в подъездах в лифтах на площадках в сновиденьях.
 Бреду опять через рощу знакомую
 забинтованный в лохмотьях
 В декабре отбродя
 от новолуния до перекроя
 то
 в новом ли фарсе иль в скетче
 новых коллизий набег
 черным по белому вечер
 белым по черному снег.

**ПУБЛИЦИСТИКА.
 СОЦИОЛОГИЯ. КРИТИКА**



Владимир ШЛЯПЕНТОХ

ЭССЕ О ВЛАСТИ

ПОЧЕМУ НУЖНА ВЛАСТЬ?

Природа политической власти проста и тривиальна. Власть необходима людям для того, чтобы они могли сосуществовать вместе на той или иной территории, координируя свои усилия для достижения общих целей. И в первую очередь она нужна для обуздания эгоистических интересов отдельных индивидуумов, включая их агрессивные инстинкты. Вряд ли спустя три столетия после "Левиафана" Гоббса или полуторы тысяч лет после "Политики" Аристотеля наш взгляд на природу власти претерпел существенные изменения. Легитимность всякой власти покоится на ее противопоставлении анархии, или тому, что Гоббс называл "естественным порядком", — когда каждый получает возможность делать то, что ему хочется.

Эта суть власти всегда с особой силой выпячивается деспотическими режимами, которые внушают населению (и не без основания), что альтернатива этим режимам — только хаос. Именно этот веский аргумент был положен в основу официальной пропаганды в Польше во время событий 1981 года,

хотя политической элите и в СССР и в самой Польше казалось бы "стыдно" прибегать к такому доводу, лишаящему их всякой исключительности.

Впрочем, в самом Советском Союзе толковые аппаратчики, когда они ведут частные разговоры с интеллектуалами, в конце концов прибегают к тому же обоснованию системы. Именно они напоминают этим интеллектуалам, особенно если они еврейского происхождения, что не будь аппарата ЦК, КГБ, именно они, еврейские интеллигенты, стали бы первыми жертвами "русского бунта".

Другое дело, что в основе такой позиции просвещенного, но преданного системе аппаратчика лежит крайне нелестное мнение о человеке, и русском, советском человеке в особенности.

ПРЕЛЕСТИ СИЛЬНОЙ ВЛАСТИ

При известных условиях русские действительно могут утвердиться во мнении, что сильная власть — это высшее благо (даже если отвлечься от внешней опасности). В частности, чем больше будет расти преступность в США и других демократических странах, тем большую ценность приобретает для них личная безопасность.

Исследования супругов Финифтер, изучающих эмиграцию из США, показывают, что в глазах многих американцев преступность представляет собой такую угрозу, что ради устранения ее они готовы пожертвовать многими исконными американскими ценностями, вплоть до свободы. В конце концов безопасность собственной жизни может стоять и ее.

Известно, что в гитлеровской Германии уровень преступности был относительно низок, а Муссолини даже удалось ликвидировать всемогущую итальянскую мафию, столь пышно расцветшую в послефашистской Италии. Похоже, что все это — яркие свидетельства в пользу сильной власти.

Прошлые эпохи изобилуют примерами, когда обмен свободы на безопасность выглядел нормальной сделкой. Мы знаем,

что в раннее средневековье, значительная часть крестьян добровольно шла в закрепощение, чтобы в обмен получить защиту от феодала.

Впрочем, физическая безопасность — отнюдь не единственное достижение сильной власти. Немецкие историки, начиная с Л. Ранке, создали школу, прославляющую сильную государственную власть и приписывали ей создание современной цивилизации. Русская государственная школа (Чичерин, Кавелин и др.) развивали те же взгляды.

В то же время заслуги сильной власти всегда подвергались сомнению. Всегда находились люди, которые видели в ней главным образом зло. Анархистская традиция была прежде всего сильна в странах с сильной властью. Именно Россия породила Бакунина и Кропоткина — факт, который еще раз подчеркивает относительность авторитарных традиций в русской истории.

В известном споре Маркса и Бакунина, к которому мы еще вернемся, по большому счету правда оказалась на стороне последнего. Бакунин глубже, чем его исторически более успешный соперник (если измерять успех по числу возведенных памятников или тиражам книг) понял проблему политической власти как проблему универсальную и социальную. Без решения этой проблемы не могут обойтись никакие типы общества, если только они не поставят своей задачей уничтожение государственной власти как таковой. Но задача эта выглядит абсолютно утопической, а результаты ее жалкими. Вспомним относительно недавний опыт американских студенческих коммун в конце 60-х годов.

НАСЛАЖДЕНИЕ ИЗ НАСЛАЖДЕНИЙ

Власть относится к числу наиболее сильных гедонистических ценностей, то есть служит источником наслаждения. Конечно, это заявление не отрицает чисто прагматической ценности власти. Материальное благосостояние и социальный престиж, обеспечиваемые властью, увеличивают уровень

потребления, который в свою очередь сопровождается увеличением доступа ко всем благам жизни, включая и благосклонность людей другого пола — фактор, который трудно переоценить. Сексуальные утехи играли важную роль в жизни большинства властителей — от Нерона до Берии или Джона Кеннеди.

Но как ни важны инструментальные (дополнительные, прагматические) функции власти, гораздо важнее ее терминальная, конечная (гедонистическая) ценность. Власть, как заметил Джилас, это "наслаждение из наслаждений" и не удивительно, что среди властолюбцев всегда было немало последовательных аскетов. (Даже Сталина в чем-то можно причислить к их числу, во всяком случае по сравнению, скажем, с Брежневым — известным "барахольщиком". Во Владивостоке, например, он буквально стащил с плеча Форда понравившуюся ему моржовую шубу, которую Форд только что получил в подарок на Аляске. А страсть к машинам и их вымогательство носили уже просто анекдотический характер.)

Итак, власть сама по себе приносит радость большому числу людей, но, к счастью для любителей власти, не всем — в противном случае возникла бы мощная конкуренция.

Однако при наших слабых познаниях в области человеческой природы и врожденных инстинктов вряд ли возможно сейчас сообщить что-либо существенное о потребности во власти, равно как и об "инстинкте агрессии". Вспомним Конрада Лоренца, экстраполировавшего биологические закономерности поведения животных на человеческое общество, или Мак-Клиленда, писавшего о "потребности в достижении".

Многие факты, в том числе заимствованные из обыденной жизни, свидетельствуют о силе этой потребности. Наиболее интересен для нас советский опыт. Думаю, что мир давно не был свидетелем такого зрелища, как советское политбюро, где больные и дряхлые люди продолжают годами цепляться за власть, нанося временами очевидный вред не только стране, но и своему здоровью. Даже кончина Брежнева не лишена известного драматизма. За два дня до смерти он, видимо, немалым усилием воли заставил себя простоять два часа на Мавзолее во время парада, чем, вероятно, ускорил свой конец.

Советским лидерам с их жадной властью подстать и их коллеги в других социалистических странах. Те также ни при каких обстоятельствах не покидают добровольно свой пост. Это в сталинские времена можно было бы объяснить страхом попасть в немилость и погибнуть, но после смерти Сталина такое объяснение потеряло почву.

ВЛАСТЬ ЛЮБЯТ МИЛЛИОНЫ

Еще более примечателен другой факт, действительно специфический для социалистического общества — факт огромного социального значения, к которому нам придется вернуться в дальнейшем. Я имею в виду легкость, с которой советская система могла рекрутировать тысячи и миллионы людей для руководства другими людьми.

Все крупные кампании, проведенные советскими лидерами — гражданская война, сопровождаемая массовым террором и Военным Коммунизмом, коллективизация, террор тридцатых годов — все это было осуществлено руками миллионов добровольцев, с готовностью согласившихся принять роль начальников над себе подобными.

Конечно, среди стимулов, толкавших людей стать соучастниками насилия, было и стремление просто выжить, но немалое место тут занимало и наслаждение от возможности распоряжаться чужой судьбой.

Писателям — представителям "деревенской прозы" — в 60-е годы удалось великолепно показать, как эта жажда власти успешно использовалась теми, кто командовал коллективизацией (Залыгин "На Иртыше", Белов "Кануны").

Еще более впечатляет нынешняя, как бы стабильная советская система, в рамках которой командуют миллионы маленьких начальников (директора бесчисленных учреждений типа сберегательных касс, почтовых отделений, магазинов, ремонтных мастерских, химчисток, а также начальники цехов, мастера, бригадиры на заводах, в колхозах и совхозах, члены партбюро, месткомов и комитетов комсомола).

Давление тех, кто правит, на социальную жизнь огромно. Похоже, мы действительно имеем дело с каким-то высшим предустановлением — то ли эволюционно-биологического, то ли иного происхождения. Но так или иначе общество, нуждающееся во власти, всегда находит в избытке тех, кто готов ее осуществить. Поразительна здесь биологическая предрасположенность некоторых людей к выполнению этой функции.

Опыт — и советский и любой другой — убеждает, что только часть людей способна к достижению власти и особенно к сохранению ее. В известном смысле можно говорить и о существовании типа человека, пригодного к тому, чтобы править. Неудивительно, что тип аппаратчика так легко вырисовывается в сознании советских граждан. Человек с наметанным глазом легко опознает представителя этой категории лишь по визуальным признакам.

СОЛИДАРНОСТЬ ВЛАСТЬ ИМУЩИХ

Достигнув власти, человек стремится ее расширить. Это стремление социально значимо, поскольку жаждущие власти объединяются в коалиции, в которых существует своя иерархия. Можно утверждать, что потребность в материальном благополучии, даже богатстве способна менее успешно объединять людей, чем тяга к власти.

Потребность же в знаниях и творчестве явно не способствует объединению. Истинные ученые плохо сотрудничают друг с другом и плохо реагируют на иерархию. Даже бизнес в эпоху крупных корпораций и монополий далек от того, чтобы быть иерархизирован как власть.

Однако потребность власти может успешно реализоваться только при условии, что она сочетается с умением подчиняться воле других. Даже Сталин, не говоря о его преемниках (которые имели менее достойных противников, чем Ленин) долгие годы выступал как дисциплинированный подчиненный Ленина.

Исследования Теодора Адорно об авторитарной личности почти строго документировало это органическое сочетание жажды повелевать другими и готовности рабски служить тому, кто находится на ступеньку выше.

Эта поразительная способность властолюбцев подчиняться своим хозяевам, возможно, является результатом положительного баланса между эмоциями, с одной стороны, от власти, с другой — от подчинения. Видимо, из-за того, что вертикальная структура всегда тяготеет к пирамидальному виду и число подчиненных всегда существенно выше числа начальников, — "игра стоит свеч". Как рассказывает секретарь Сталина Баженов, его хозяин и при Ленине испытывал все прелести отправления власти. Об этом же свидетельствует и армейский опыт. Любой ефрейтор чувствует себя начальником и, по всей видимости, тоже положительно оценивает свой баланс эмоций.

Люди, достигшие власти и жаждущие ее укрепить и расширить, неизменно оказывают давление на общество. Власть — это как бы чудовище, пожирающее при малейшей возможности то, чем общество живет, то есть его права и свободы. При сильной власти, при жестком контроле завтра этих прав и свобод будет еще меньше, чем сегодня.

Лучше других это осознает американское общество, которое с самого начала сделало все, чтобы противостоять сильной власти, и тратит немало энергии, чтобы держать власть "на расстоянии". Другое дело, всегда ли ему это удается.

И здесь мы подходим к крайне важному соображению: в каком-то смысле суть исторического процесса — это динамика власти, точнее, динамика ее усиления и ослабления, ее концентрации и рассеивания. Другими словами, это процесс нерегулярного чередования периодов с сильной и слабой политической системами.

С этой же точки зрения решающую роль в историческом процессе играет эволюция сил, способных противостоять концентрации власти. Эти силы, как правило, намного слабее власти и чаще всего проигрывают конфликты с ней. В

тех редких случаях, когда им удается одержать победу, это следует рассматривать как одно из самых удивительных чудес в мире.

ЧУДО ДЕМОКРАТИИ

Демократия по своей сути — это необычайно хрупкое образование, которое всегда было в окружении государств с сильной централизованной властью (вспомним Афины) и всегда находилось под давлением враждебных ей сил изнутри.

Возникновение и функционирование общества со слабой центральной властью было и продолжает оставаться чудом истории. Чудо Новгородской республики не перестает поражать воображение россиян. Как это могло быть? Как это могло произойти?

Зарождение британской политической системы, которая создала "матрицу" для имитации в других странах (иного образца новая история в сущности не знает), до сих пор кажется столь же загадочным, как и возникновение жизни на Земле. Не проскочи Англия с такой легкостью этот поворот истории и, возможно, человечество и по сей день не было бы знакомо с типом общества, где центральная власть столь сильно ограничена и где горизонтальная структура имеет явный перевес над вертикальной.

Суть британского изобретения — это многопартийная система. Ничего другого никому не удалось придумать. Сегодня некоторые русские мыслители (главным образом в эмиграции) утверждают, что России нужна другая политическая структура, которая может быть и демократической и вместе с тем не многопартийной.

Минусы многопартийности очевидны. Эта система похожа на рынок. Если идет речь о товарах и услугах, рынок кажется вполне пригодным и достойным механизмом. Но когда дело касается идей и моральных принципов, конкуренция с использованием всех доступных ей средств (включая подкуп покупателя и даже его обман) кажется ужасной.

Демократия с ее многочисленными слабостями и прежде всего из-за того, что она имитирует рынок в политической жизни, — всегда была объектом язвительной и справедливой критики. Не говоря уже о таких фигурах, как русский консерватор Победоносцев, который ярко продемонстрировал жителям России конца прошлого века все язвы демократии, даже Гитлер в своих нападках на плутократический режим Запада был не так уж несправедлив.

С позиций исторического опыта почти всех стран мира идея создания нового типа горизонтальных структур кажется, увы, утопичной. Создание такой новой структуры означало бы возможность обойтись без конкурирующих политических организаций, а это кажется мифом, при всей вере в творческие потенции истории.

Сущность современной демократии в ее способности противостоять тем, кто находится сейчас у власти и кто имеет доступ к кнопкам, с помощью организаций, способных легитимно поднять население против тех, кто решил как бы "временно" задержаться в Белом доме. Любопытно, что сторонники свободного владения оружием в США ссылаются также и на это обстоятельство. Впрочем, сама американская конституция узаконила вооруженное выступление граждан против узурпатора.

НЕНАВИСТЬ БОЛЬШЕВИКОВ К "ЧУЖИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ"

Глубина "британского чуда" рельефно доказана советской историей. С момента своего появления у власти большевики начали вести борьбу со всеми возможными организациями. И не было для ЧК или КГБ более важной задачи, чем уничтожение в зародыше любой не созданной начальством организации, будь то кружок филателистов или людей, желающих неподконтрольно изучать произведения Маркса и Ленина.

Не только организации как таковые, в том числе упомянутые кружки, но и любые коллективные акции, например коллективное письмо в ЦК, даже исполненное заботой об интересах режима, вызывает негативную реакцию советского руководства. Превознося "коллектив" как важнейший феномен советской жизни, советская элита на дух не терпит этот самый коллектив, если только он не создан и не контролируется ею. Термин "коллективка" относится к числу понятий, используемых при определении наказаний советским гражданам, особенно членам партии.

Большевики всегда были уверены, что если бы царские чиновники не позволили им создать партию, то они никогда не сумели бы захватить власть. Не было в новой истории человека, который так глубоко проникся идеологией власти, как Ленин. В понимании власти он превзошел всех своих современников и многих своих предшественников. "Диктатура", "государство", "насилие", "террор", "революция" — все эти термины занимают ведущее место в словнике к собранию сочинений Ленина. При том, что составители сознательно обошли сам термин "власть", спрятав его среди других более приемлемых категорий.

ВЛАСТЬ ВСЕГДА И ВЕЗДЕ

В известном смысле власть, процессы ее расширения и лишения свободы индивидуума являются где-то естественными. Скорее необычным, редким, даже противоестественным выглядит создание организаций, способных противостоять власти. Похоже, что власть более универсальное явление, чем большинство других феноменов, с которыми мы сталкиваемся в разных обществах. Даже обмен в какой-то мере — явление менее всеобщее, чем власть. Можно (хотя и трудно) представить себе социальный организм без обмена (нечто похожее на "хороший" военный коммунизм), но только очень богатое воображение может заставить нас согласиться с реальностью обществ, описанных великими утопистами прошлого.

Из других социальных институтов, может быть, только семья способна конкурировать с властью. Более того, власть функционирует по модели, которая работает почти всюду, и различия между типами власти скорее чисто количественные.

Вряд ли требуются специальные модели, чтобы описать функционирование того, что мы называем исполнительной властью в СССР и США, в особенности отдельных агентств, таких как военное министерство, разведка, полиция и другие. Впрочем, мнение об универсальности бюрократии не является новым, а после работ немецкого социолога Вебера оно почти тривиально.

Конечно, утверждение об универсальности модели власти не распространяется на механизм отбора политических лидеров. Здесь различия между демократиями и недемократиями радикальны. Но и с учетом этих различий, с учетом постоянного внимания американского президента к общественному мнению и позиции конгресса, деятельность аппарата Кремля и Белого дома имеет массу общих черт. Об этом ярко свидетельствуют публикуемые в США мемуары президентов, секретарей и работников Белого дома. Серия публикаций, относящаяся к Никсону и Уотргейту была особенно примечательна на этот счет.

Другое дело масштабы власти или просто количество власти, которым располагает руководитель советского или американского государства. Их возможности воздействовать на судьбы своих граждан "качественно" различны, что, однако, может быть вполне количественно измерено. Я уже не говорю о почти полной идентичности власти обоих руководителей в отношении использования ядерного оружия.

Многopартийная система, однако, продолжает казаться крайне хрупкой и способной выжить только при довольно редких условиях. Любопытно наблюдать, как эта система, однажды созданная (чаще всего под влиянием бывших колонизаторов, особенно английских), довольно часто эволюционирует в "однопартийную", то есть тоталитарную систему. Так обстояло дело в Гане, Пакистане, Гвинее и других странах.

И все-таки странно, что "английские гены демократии" оказались, по всей видимости, более сильными, чем французские, бельгийские или какие-либо другие.

СЛАБА ЛИ ЗАПАДНАЯ ДЕМОКРАТИЯ?

Западная демократия далека от совершенства с любой точки зрения. Она даже не способна обеспечить равенство граждан в политическом отношении. Существуют три главных аспекта демократии как политического института: равенство в выборе руководства, во влиянии на процесс принятия политических решений и возможностях выражения своего мнения.

Западная политическая система очень неравномерно распределяет эти блага между жителями тех или иных стран. Элитарный характер западной политической системы, о котором писал американский социолог Чарльз Миллс, трудно отрицать. Сравнительно небольшое число людей принимают решения, касающиеся выбора кандидатов на различные выборные должности. Столь же небольшое число людей оказывают часто решающее влияние на результаты выборов и на позицию средств массовой информации. То обстоятельство, что в США деньги играют огромную роль в избирательной кампании, говорит само за себя. Равно, как и существование политических кланов типа семьи Кеннеди или деспотических политических машин, подобно той, что в свое время создал губернатор Дейли в Чикаго. Равно как и многочисленные случаи остающейся безнаказанной коррупции политических деятелей.

Мы знаем, что почти половина американцев не участвуют в выборах президента США — факт фундаментального значения, бросающий тень на легитимность важнейших политических институтов США. Эти и другие дефекты западной демократии, лишаящие граждан равного веса в политической

жизни, делают эту демократию и всю западную политическую систему уязвимой в самое ее сердце.

Более того, наблюдая политическую жизнь на Западе, приобретаешь дополнительный довод в пользу суждения, к которому пришли советские либералы и которое в общем поддерживается аппаратом в СССР, — большинству народа вообще не нужно участие в политической жизни. В отношении советских граждан эта же мысль развивается дальше — большинству не нужны и политические свободы. Для западного мира это неверно, как, впрочем, неверно и для жителей СССР. Другое дело, какова роль политических свобод и экономического благосостояния на шкале ценностей разных народов и какова взаимозависимость между ними.

Политические свободы на Западе (но не участие в политическом механизме) высоко ценятся рядовыми гражданами, и они с трудом понимают, как можно обойтись без них.

Однако равнодушие к механизму политической жизни, очень похожее на то, что мы наблюдаем в социалистических странах, свидетельствует в пользу следующего предположения. Система, в которой граждане лишены всякой политической роли, но которая умеет в то же время выпускать пары недовольства (или, проще, допускает свободу мнений и даже почти свободную прессу), была бы при необходимости принята большинством населения Западе. Впрочем, левые критики Западе утверждают, что нынешняя система является именно таковой.

Все эти слабости западной демократии и объясняют частично феномен пораженчества среди значительной части населения на Западе, особенно в Западной Европе, по отношению к советской угрозе — факт, который приводит в изумление советских эмигрантов. Для этой части населения тезис "свобода или смерть" выглядит несерьезным. Видимо, в их мышлении установление коммунистического режима в их стране означает просто смену одних политических боссов другими притом, что общий их стиль жизни и, конечно, уровень их благосостояния будут прежними. Сторонников жесткой и рискованной внешней политики по отношению к СССР эти люди подозрева-

ют в том, что под видом борьбы за демократию они хотят отстоять свои классовые привилегии.

То обстоятельство, что западная демократия, несмотря на ее фантастический прогресс, не пользуется безоговорочной поддержкой среднего человека, представляет серьезную для нее угрозу. Относительная легкость, с которой Гитлер смог в более или менее "честной" полемике дискредитировать демократию в Германии, — серьезный исторический урок.

Этот ход мыслей находится как бы в ортогональном отношении к тому, что западная демократия слишком снисходительна как к своим врагам (например, агентам советского блока), так и просто к обычным преступникам. Ее упрекают в "легализме", в чрезмерной приверженности соблюдению буквы закона, видя именно в этом, а не в равнодушии граждан к политическому процессу угрозу для Запада.

И в этом глубокое и печальное противоречие западной демократии: чрезвычайная озабоченность политическими свободами каждого, озабоченность глубокая, всесторонняя и реальная, не делающая исключений почти ни для кого, — и равнодушие тех, о чьих свободах она заботится, к механизму демократии.

Средний человек на Западе в общем не осознает значение демократии в его жизни. Он не понимает, что со всеми ее недостатками демократия не позволяет политической власти взять верх в обществе и подавить инициативу людей во всех сферах жизни, и прежде всего в экономике и науке. Он, этот средний западный человек, принимает за данное, все что он имеет и не понимает, насколько это "неестественно", преходяще и сколь серьезна угроза возвращения к тоталитарному обществу.

Впрочем, этот прогноз односторонен и не вполне учитывает, что общество, где политическая власть доминирует, переживает еще большие в каком-то смысле кризисные явления, что история распределила козырные карты более или менее равномерно и что только она в конечном итоге решит исход поединка между Западом и Востоком.

ДЕМОКРАТИЯ ДЛЯ ЭЛИТЫ

Соотношение власти и свободы является одним из примеров, когда мы действительно имеем дело с игрой с нулевой суммой. Власть и свобода — два взаимоисключающие понятия, и всякое расширение власти означает по определению уменьшение свободы тех, на кого распространяется данная власть.

В известном смысле это утверждение почти тавтологическое, однако здесь имеется и нетривиальный аспект. Конечно, если идет речь об участии рядовых граждан в принятии решений политического характера, то взаимоисключенность двух понятий более чем очевидна.

Однако если идет речь об участии граждан в выборе администрации, особенно о свободе выражения мнений, а также о свободе выбора в других сферах жизни, то ситуация не так уж проста. В общем нетрудно представить организацию с сильной центральной властью, которая не ограничивает своих членов даже в решениях, связанных с выбором руководителей.

Президентская республика деголлевского типа внешне соответствует этой комбинации. Видимо, те, кто полагают, что для России нужно авторитарное государство, в общем имеют в виду именно этот тип государственного устройства, хотя некоторые из его сторонников продолжают размышлять о монархе как руководителе государства.

Возможно, такое устройство — сильная власть, которая не ограничивает свободу и регулярно переизбирается — и есть идеал (предполагающий, конечно, что граждане могут только советовать, но не принимать реального участия в механизме принятия решений). Идеал, который явно носит элитарный характер и в общем близок многим советским интеллектуалам и глубоко враждебен американским.

Это сочетание демократизма и элитарности является действительно одним из интересных интеллектуальных продуктов советской цивилизации. С одной стороны, советские интеллектуалы, пострадавшие от жизни в полицейском государ-

стве, полагают, что нет более важной задачи, чем демократизация советского общества. С другой стороны, тот же опыт не внушил им большого уважения к "массам", которые оказались довольно легкой добычей большевиков и столь же легким предметом для манипулирования в течение многих десятков лет. Может быть, в чем-то советские интеллектуалы и элита разделяют общие нелюбимые для народа взгляды относительно его способности принимать участие в управлении государством. Это обстоятельство, однако, не должно позволить нам упустить из виду главного. В то время как политическая элита видит в массах только объект власти, интеллектуалы выступают как единственные выразители интересов и мнений тех же масс и нередко предпринимают опасные шаги ради этих масс. Вспомним, например, защиту Сахаровым татар.

ДО И ПОСЛЕ ЗАХВАТА ВЛАСТИ

Но насколько реален этот идеал — элитарно-демократическая власть? В конце концов, современная Франция и США далеки от этого идеала. Да и вряд ли он может быть осуществлен. И дело здесь в таинстве перехода от периода "до власти" к периоду "после власти". Всякое ограничение свободы граждан, исходя из элитарных соображений (которые, естественно, включают весь арсенал аргументов против "развращенной демократии", превращающейся просто в господство толпы), приводит к тому, что скачок из одного периода в другой почти всегда приобретает на данном историческом отрезке необратимый характер. Оказавшись в седле власти и не подвергаясь ежечасному контролю и давлению, те, кто успел ее захватить, быстро консолидируют и монополизируют ее.

Между тем у демократии, в конце концов, есть только одно грандиозное преимущество перед другими структурами — она не позволяет узурпировать власть одному человеку или небольшой группе лиц. Как показал исторический опыт, нет ничего более страшного, чем это. Даже однопартийная сис-

тема была бы не столь ужасна, если бы она, как правило, не сочеталась с единоличной или олигархической диктатурой. Старинная марксистская критика демократии — "подумаешь, право выбирать из двух представителей одного и того же класса — великая привилегия" — глубоко наивна (у Маркса) и бесконечно фальшива у современных советских идеологов или западных марксистов.

"Хорошее" авторитарное правление невозможно просто потому, что власть не может не воспользоваться возможностями, которые у нее появляются. Даже в западных странах общественность всегда подозрительно следит за поведением сильных президентов, таких как де Голль или Никсон.

Всегда существует прямая опасность даже в демократической системе, что люди, раз дорвавшись до власти, не пожелают ее оставить и найдут способы сделать это. А один из главных и трагических уроков истории как раз и состоит в том, что власть, перешагнув через известный предел, оказывается сильнее, чем идеология, недовольство народа или очевидная нерациональность ее действий.

СВОБОДА КАК ЦЕННОСТЬ

Когда я здесь употребляю термин "свобода", я имею в виду ее "терминальную", если угодно, даже гедонистическую ценность, то есть как нечто важное само по себе. Наличие или отсутствие свободы создает или уничтожает комфорт. Даже Сталин должен был считаться в каком-то смысле с потребностями населения в еде и жилье. Но он совсем не принимал в расчет потребность в свободе и был где-то прав. Это поняли его преемники, которые, будучи озабочены настроением масс, обращали внимание только на уровень жизни, твердо полагая, что свобода народу в целом не нужна.

Конечно, роль свободы в жизни людей возрастает, если она важна также и для осуществления других задач, в частности для успешной профессиональной деятельности. Буржуа оказались в соответствующий период горячими сторонника-

ми свободы прежде всего потому, что это было необходимо им для их экономической деятельности.

В современном социалистическом обществе свобода органически нужна людям творческого труда, интеллектуалам, то есть творческим людям высшей квалификации (с высшим образованием, в частности). Они-то — и по сути только они — являются в СССР или Польше единственной социальной группой, преданной идее свободы, хотя национальные традиции, особенно в России, не работают в их пользу.

Как будет показано дальше, именно они, интеллектуалы, и есть главный объект, с которым борется власть. Методы этой борьбы разнообразны — от ГУЛага, то есть от насильственного подавления, до развращения предоставлением потребительских благ и созданием официальной славы.

Однако даже при непрерывном росте удельного веса интеллигенции и с учетом того, что социалистическое общество предпочитает политическую лояльность эффективности в любой сфере, роль свободы в конечном счете зависит от того, каково ее место в шкале терминальных ценностей народа. Конечно, и это обстоятельство не следует переоценивать, так как люди "переигрывают", меняют акценты в своей системе ценностей (а именно это важно, а не просто перечень ценностей) и, приспособляясь все к той же власти, могут резко ослабить вес свободы за счет других ценностей. Немцы, например, это сделали за последние десятилетия дважды — во время гитлеровского режима и теперь, в ФРГ.

И все-таки глубина "залегания" ценности свободы оказывает огромное влияние на вечный конфликт власти и народа. Конфликт, который, как я уже подчеркивал, составляет основное содержание истории.

Эта позиция вполне отвечает марксистским нормам, потому что она отрицает чистую функциональность власти и не соглашается рассматривать власть как один из "нормальных" видов деятельности в рамках общего разделения труда. (Я не хочу воевать и быть монахом, поэтому я буду охотно подчиняться командам и феодала и церкви.) Власть как монополия — я уже это подчеркивал ранее — берет себе все-

гда больше, чем ей причитается за ее в общем бесспорные заслуги перед гражданами, в частности за дефицитные ресурсы, которые она разрешает использовать (экономическая власть) и за порядок и координацию (политическая власть).

РОЛЬ СВОБОДЫ РАСТЕТ

Можно утверждать, что в целом роль свободы как ценности растет в процессе истории. В прошлом, как доказывают этнографы и историки, человек часто почти не выделял себя из своей группы. Мы можем встретить похожие феномены даже в современную эпоху. В период массового психоза, в толпе, люди и сейчас часто теряют ощущение своей индивидуальности. Начиная с Лебона социологи активно изучают психологию массовых движений и, в частности, пытаются понять механизм, который заставляет и современного человека забыть о себе и даже о своих коренных интересах. "Групповой эффект" — это один из самых важных инструментов власти. Именно он помогает ей подчинить себе людей, особенно наиболее активных из них, то есть представляющих главную опасность для власти.

Человечество в основном вышло из стадии, когда индивидуум плохо отграничивал себя от коллектива. В эпоху Возрождения Запад сделал решающий скачок в этом отношении и включил свободу и индивидуализм в число своих важнейших ценностей. Конечно, тому же Западу понадобилось ряд веков, чтобы идея свободы вышла на первый план для широких масс. В этом отношении США представляет страну, которая с ее культом свободы и индивидуализма явно находится "впереди планеты всей". Правда, и в этой стране, несмотря на то что ее создатели придавали свободе первостепенное значение, идея свободы и индивидуализма в полной мере вошла в сознание большинства сравнительно недавно, скажем, после второй мировой войны и особенно в результате событий 60-х годов. Но кажется, и в США процесс далеко не завершен.

Существует точка зрения, не вполне лишенная смысла, согласно которой так называемое массовое общество с его рекламой и массовой культурой создает во многих случаях только видимость свободы и что человек в таком обществе, как утверждал в свое время Эрик Фромм, лишен и подлинных чувств, и подлинной воли, и подлинных мыслей. Конечно, как всегда, критики "массового общества" тоже не обращают внимания на реально существующие элементы действительности. Многие из них, как и те, кто предсказывали полную монополизацию капиталистической экономики, игнорируют тот факт, что индивидуум в США имеет перед собой много возможностей для выбора, что конкуренция между теми же монополиями и средствами информации достаточно велика для того, чтобы сохранить перед индивидуумом большое число степеней свободы.

Я полагаю, что, несмотря на все особенности советской истории последних десятилетий, можно считать, что идея свободы сделала прогресс даже в СССР. Не только аппаратчики, но и некоторые интеллектуалы из славянофильского лагеря (внутри страны и за ее пределами) внушают, что русским не нужна свобода западного типа, предполагая, что будто бы существует другая свобода. Для первых такая точка зрения служит очевидным средством обоснования их диктатуры. Вторым это нужно для реализации мессианской идеи о России, где все должно быть иначе и все минусы западного образа жизни могут быть преодолены как-то по-русски. Очевидно, что советским руководителям нет необходимости опровергать эту в общем удобную для них точку зрения, даже если она сочетается с резким антикоммунизмом.

Возрастание роли свободы как ценности в конечном счете предопределено ростом образования и вообще уровня жизни. Забитые, голодные и темные люди не испытывают потребности в том, чтобы наслаждаться прелестями выбора. Выжить — вот что для них первостепенно. Это знает каждый, кто пережил ситуацию, когда казалось, что жизнь даже в лагере лучше, чем смерть. В известном смысле сторонники одностороннего разоружения по-своему правы. Действительно,

лучше быть "красными", чем "мертвыми". И до какой-то степени демагогическими выглядят заявления тех, кто полагает, что свобода стоит смерти. На этом превосходно играют советские политики, которые по сути осуществляют уже ядерный шантаж мира и, вероятно, в гораздо более отчетливой форме будут делать это в будущем. По-видимому, раз у них оказалось это оружие, то дела человечества в общем почти безнадежны, во всяком случае в плане капитуляции под давлением шантажа.

Итак, свобода — это важная ценность для обычной жизни. Однако естественно предсказывать ее отсутствие для периодов катастроф или кризисов. То, что Англия сумела остаться верной себе и в период второй мировой войны, — факт исключительный даже для Запада. (Американцы, например, до сих пор печалются, что они интернировали ни за что, ни про что японцев, нарушая свои собственные законы.)

Однако как бы там ни было, с улучшением условий жизни интерес к свободе отчетливо возрастает. В качестве косвенного показателя могу сослаться на факт, твердо установленный советскими социологическими исследованиями, в том числе и моими: с ростом образования резко и однозначно растет недовольство людей отсутствием свободы выбора в самых разных сферах общественной жизни.

Совершенно четко это было доказано в отношении информации. Чем выше уровень образования, тем больше люди ценят возможность обращаться к разным источникам информации, тем активнее они требуют, чтобы средства массовых коммуникаций отражали разные точки зрения. Даже в 70-е годы, когда люди отвечали на вопросы гораздо менее искренне, чем в 60-е, более половины читателей "Литературной газеты" четко заявили, что они предпочитают при рассмотрении любой проблемы изложение разных и, в частности, прямо противоположных точек зрения.

Окончание в № 75.



Дора ШТУРМАН

СОВЕТСКИЕ ВОЖДИ НА ЯЗЫКЕ ОСТРОСЛОВОВ

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ, ДАВАЙТЕ ВЫПЬЕМ!

П.Б.Струве в сборнике статей "Дух и слово" (1981) дает следующее определение анекдота: "Занимательный и забавный рассказ о каком-то действительном, не выдуманном происшествии, которое имеет, однако, помимо индивидуального и случайного содержания, типический и общий смысл".

Сегодня анекдот ушел, казалось бы, весьма далеко от своей первоначальной фактографической достоверности. Если в нем и встречаются некие отрывные факты (например, речь Ленина с броневика в апреле 1917 года), они столь издевательски интерпретируются, что утрачивают всякую историографическую строгость:

Коллекция д-ра С.Тиктина, пять разделов которой легли в основу очерка, собиралась с 1956 г. В ней, однако, есть и более ранние анекдоты, циркулировавшие в обществе, что свидетельствует об их неутраченной актуальности. Кроме собрания С.Тиктина, мною использованы материалы Ю.Телесина, Н.Олина и некоторые другие источники.

— Владимир Ильич, давайте выпьем!

— Нет, батеньке мой, больше не пью. Помню, как-то в ап--ле семнадцатого налил, занесло меня на финляндский вокзал, забгался я на бгоневичок и такую хгеновину понес — до сих пор вспоминать стыдно!..

И тем не менее советский политический анекдот, в частности обширная анекдотическая "вождида", несомненно воспроизводит историческую реальность. Некий "типический и общий смысл" пропитывает самые фантазмагорические сюжеты и ситуации.

Родившийся ранее самиздата, анекдот предвосхищает неподцензурную письменную интерпретацию советской жизни. При Сталине за анекдоты давали до десяти лет лагерей. Начинают сажать за анекдоты и при Андропове. Недавно получила три года за распространение анекдотов ленинградка Ирина Цуркова. Но пресечь их возникновение и повсеместную — от кулуаров партийных форумов до лагерей — циркуляцию не удавалось даже в годы "большого террора". Сегодня они множатся лавинообразно.

СПАСИБО ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ

О Сталине, правившем страной почти тридцать лет, циркулировало в 1956-1982 годах (время составления нашей коллекции) меньше анекдотов, чем о Ленине, Хрущеве и Брежневеве: всего около сорока. О Ленине нами собрано в те же годы около пятидесяти анекдотов; о Брежневеве — около семидесяти; о Хрущевеве — за семь лет правления — около ста.

Рекорд поставил Хрущев — личность наименее злобная и наиболее комическая из всех генсеков. Правда, об отнюдь не смешном Андропове за полгода его пребывания у власти появилось около двадцати дошедших до нас анекдотов.

Сталин — фигура злобная и устрашающая. Но советский анекдот имеет удивительную способность издеваться над самыми страшными явлениями действительности. Это не смех, а неприязненная усмешка, обнажающая самую суть явления.

Мрачный сарказм окрашивает почти все анекдоты о Сталине. В те годы, когда мы их начали собирать,* еще имели хождение испытанные временем анекдоты о Сталине 1920-40-х годов.

Жанр устной сатирической миниатюры плохо, с невосполнимыми потерями воспроизводится на бумаге. Как, например, передать еврейскую ироническую интонацию телеграммы Троцкого, посланной в ЦК в ответ на требование признать правоту Сталина? Эта телеграмма гласит:

"Сталин вождь, я не вождь, Сталин прав, я на прав, я извиняюсь".
А произносится она так:

"Сталин вождь — я не вождь?! Сталин прав — я не прав?! Я извиняюсь!!"

Это заключительное "Я извиняюсь!!" означает: "Как бы не так!" Попробуйте передать эту одесскую идиому без соответствующей интонации. Как передать письменно неизменный грузинский акцент Сталина и ленинскую картавость, обыгрываемые анекдотами? А косноязычие Хрущева и Брежнева?

Ощущение злодейской сути Сталина возникает в народе уже в 20-е годы. В середине 20-х имел хождение следующий анекдот:

Сталин выступает перед трудящимися:

— Я готов отдать делу рабочего класса всю свою кровь по капле.

Анонимная записка из зала:

— Дорогой Иосиф Виссарионович! Чего тянуть? Отдайте всю сразу!
В 1930-е годы:

Рабинович вышел на октябрьскую демонстрацию с плакатом:

"Спасибо товарищу Сталину за наша счастливое детство!"

К нему подбегает парторг:

— Вы что, издеваетесь? Ведь вы глубокий старик: когда вы были ребенком, товарищ Сталин еще не родился!

— Вот за это ему и спасибо!

Безымянные авторы анекдотов не поддались гипнотическому воздействию многолетнего культа Сталина и реабилитировали своим злым смехом народ, создавший эти и подобные им саркастические миниатюры.

Даже чудовищные самооговоры обвиняемых на судебных процессах сталинского периода, не несущие, казалось бы, в

себе и тени смешного, тоже не избежали воспроизведения в анекдотах.

У Сталина пропала трубка. Он вызывает Берию:

— Что это у тебя все пропадает, Лаврентий?

Бария побледнел и через два часа звонит:

— Арестованы сорок семь человек. Следствие ведет мой первый заместитель.

Через час Сталин хватился — исчезла щеточка для чистки трубки...

В конце дня Бария доложил:

— Арестовал восемьдесят пять подозреваемых. Следствие веду лично.

На следующее утро уборщица нашла все потерянные вещи. Сталин звонит Берии:

— Можешь больше не искать, Лаврентий... Вещи нашлись.

— Жаль, Иосиф Виссарионович, — огорчился Берия. — Все, кроме одного, сознались...

Задолго до того, как разоблачено было (хотя бы в книгах его дочери) изощренное личное коварство Сталина, об этом его качестве поведали анекдоты. В одном из них Сталин выслушивает все жалобы Пушкина и тут же приказывает приближенным немедленно выполнить все просьбы поэта. Когда счастливый Пушкин выходит, Сталин снимает телефонную трубку: "Товарищ Дантес? Товарищ Пушкин от меня уже вышел!"

Существует в старых анекдотах о Сталине едва намеченная тенденция обвинять в массовых репрессиях "органы", а не вождя: нарком иностранных дел М.Литвинов жалуется Сталину на репрессии против его жены, "Значит, у товарища Ежова есть на нее материал?" — "У товарища Ежова есть и на вас материал, товарищ Сталин", — отвечает Литвинов.

Но эта тенденция захлебывается в потоке анекдотов, представляющих инициатором и виновником и великого голода начала 1930-х годов, и последующих массовых репрессий лично Сталина. Характерно, что при этом Ленин отнюдь не противопоставляется Сталину как некое благое начало. Просто при Ленине, за шесть лет, коммунисты еще не успели совершить всего того зла, которое совершили они при Сталине. Поэтому Ленин мог еще ходить в ботинках (грязь и кровь

* Автор статьи Дора Штурман активно участвовала в сборе анекдотов вместе с д-ром Тиктиным

при нем были по щиколотку), а Сталину пришлось обуть сапоги (кровавая жижга поднялась почти до колен).

После разоблачений 1956 года имя Сталина все чаще начинает фигурировать в анекдотах, связанных с действиями его преемников. Неоднократно обыгрываются их манипуляции с трупом Сталина ("Куда партия прикажет — туда и лягу"). Высмеивается явное нежелание послесталинского ЦК всерьез исследовать деятельность Сталина, ее истоки, размах и последствия:

"Критика и самокритика великая сила: покритиковали товарища Сталина на XX партсъезде, и он исправился. И теперь дай Бог всякому быть таким марксистом, как Сталин"— (анекдотическая перефразировка известного высказывания Хрущева).

В посмертных анекдотах предвосхищается и авторхановская идея о том, что Сталину помогли умереть: трехбуквенное словцо, покрывающее заборы и стены, расшифровывается анекдотчиками как аббревиатура:

"Хто убил Йоську?"

Чаще, однако, говорится о преемственной связи между Сталиным и его наследниками:

Сталин оставил три завещания в запечатанных конвертах.

На первом стояло: "Вскрыть сразу". Вскрыли, прочитали: "Положите меня в мавзолее". Положили. На втором конверте стояло "Вскрыть, когда будет плохо". Увидев, какая разруха царит в сельском хозяйстве (1954 г.), вскрыли, прочитали: "Валите все на меня". На XX съезде свалили. На третьем конверте было написано: "Вскрыть, когда станет очень плохо". Вскрыли во время Венгерского восстания (осень 1956 г.). Прочитали: "Делайте все, как я". Сделали все, как он...

И еще один анекдот о преемственности — уже между Сталиным и Брежневым: в 1965 году Брежнев вызывает дух Сталина и спрашивает:

- Товарищ Сталин, что нам делать с Синявским?
- Это какой Синявский? Радиокомментатор?
- Нет, товарищ Сталин, это писатель, который...
- А зачем тебе два Синявских?.. — перебивает Брежнева Сталин.

НИКИТКА И АРМЯНСКОЕ РАДИО

В отличие от его предшественника, в Хрущеве и впрямь было много комического, хотя, несомненно, и на нем лежал тяжелый груз соучастия в сталинских преступлениях. Хрущев, по-видимому, искренне верил в способность СССР сравнительно быстро обогнать в экономическом развитии Запад, добиться сказочного изобилия и построить за одно-другое десятилетие материально-техническую базу коммунизма. Его эйфорическому оптимизму и непробиваемой самоуверенности немало способствовало его невежество. "Армянское радио" уловило самую суть этой реформаторской импотенции в лаконичном диалоге, явно интеллигентском по происхождению.

— Что представляют собой реформы Хрущева?

— Инъекции лекарственных средств в деревянную ногу.

Многообразные попытки Хрущева улучшить жизнь поистине оборачивались той "шизореформацией", которую вскоре (еще при нем!) начнут по указке свыше инкриминировать инакомыслящим психиатры (психозавры) в своих застенках. Анекдоты на все лады издеваются и над хрущевскими нововведениями, и над его претензией считать эти новации благодеяниями для народа, и над его малограмотностью.

Хрущев и Булганин летят в самолете:

— Брошу в окно сторублевку, — говорит Булганин. — Найдет кто-то — обрадуется...

— Брошу-ка я целую тысячу по десятке, — говорит Хрущев, — многих обрадую...

— Сбросил бы я, ребята, вас обоих вниз: весь народ бы обрадовал! — говорит пилот (1955-1956 гг.).

Армянское радио спрашивают:

— За что выселяют Нину Хрущеву из Москвы?

— За то, что держит кабана в центре города! (1957 г.).

Решил как-то Хрущев написать свою речь самостоятельно. Дал на просмотр Сулову, Ильичеву и Аджубею.

— Идеологически все выдержано, — говорит Сулов.

— Политически правильно, — говорит Ильичев.

— Все хорошо, Никита Сергеевич, — говорит Аджубей, — только "насрать" пишется вместе, а "в жопу" — отдельно! (1960).

Как изменились времена за одну пятилетку: в 1952 году кто-то сказал, что Сталин дурак, и его в тот же день расстреляли; а недавно один заявил, что Хрущев дурак, так ему дали восемь лет за разглашение государственной тайны! (1957 г.).

Хрущев осматривает знаменитую художественную выставку в Манеже.

- Это что за дурацкий квадрат с красными точками?
- Это советский завод с трудящимися, Никита Сергеевич.
- А это что за дерюга, измазанная зеленым и желтым?
- Это кукурузное поле...
- А это что за жопа с ушами?
- Это... это зеркало, Никита Сергеевич! (1963 г.).

Армянское радио спрашивают:

- Что нового внес Хрущев в теорию марксизма-ленинизма?
- Мягкий знак в словах марксизм", "ленинизм", "капитализм", "социализм" и "коммунизм" (1965).

Задержали анекдотчика, привели к Хрущеву.

- Какая мебель! Какие ковры! — восторгается анекдотчик.
- Скоро у всех в нашей стране такое будет, — говорит Хрущев.
- Одно из двух: или вы будете рассказывать анекдоты, или я!.. (1959 г.).

Таких анекдотов — десятки. Мы привели очень немногие, но характерные. Их сочинение не прекратилось и после того, как Хрущев "нырнул в Черное море премьером, а вынырнул пенсионером" (1964). Вот некоторые из анекдотов, возникших уже после отставки Хрущева.

Армянское радио спрашивают:

- Почему Хрущеву не подписывают обходной лист?
- Потому что принял в Мавзолее двоих, а сдал одного... (1964).

Еще вопрос к Армянскому радио:

- Правда ли, что опять будут перебои с хлебом?
- Правда: Хрущев собирается поработать два месяца (1965).

Представляет собой некоторую социально-психологическую загадку тот факт, что несомненное смягчение внутриполитической ситуации в СССР после смерти Сталина почти не нашло отражения в анекдотах о Хрущеве, сыгравшем видную роль в этом процессе. Есть небольшое количество иронических анекдотов о реабилитации, но Хрущев в них не упоминается. Зато в нескольких анекдотах, возникших в конце эпо-

хи Хрущева, ему приписывается угроза возобновить репрессии ("Скажи своему папе, что я умею сажать не только кукурузу", — реплика Хрущева в одном из анекдотов 1963 года).

По-видимому, современный советский анекдот как жанр не ориентирован на какую бы то ни было апологию власть имущих. Кроме того, лихорадочная деятельность и бесконечные речи Хрущева заслонили и вытеснили из памяти начало его правления.

Вот иронический перечень дел Хрущева, возникший вскоре после его принудительной отправки на пенсию (1964 год).

Армянское радио спрашивает:

- Что успел и чего не успел сделать Хрущев?
- Успел соединить уборную с ванной, но не успел — пол с потолком. Успел разделить обкомы партии на промышленные и сельскохозяйственные, но не успел разделить министерство путей сообщения на министерство "туда" и министерство "сюда". Успел научить сеять в Советском Союзе, а собирать урожай в Америке, но не успел научить всех писать так, как он говорит.

КУЛЬТ ЕСТЬ, А ЛИЧНОСТИ НЕТ

Многочисленная и пополнявшаяся вплоть до его смерти серия анекдотов о Брежневе в качестве эпитафии может иметь один из диалогов "Армянского радио" (1971).

- Есть ли у нас сейчас культ личности?
- Культ есть, а личности нет.

Вначале, сразу же после отставки Хрущева, распространяются анекдоты, связывающие Брежнева со Сталиным:

Армянское радио спрашивают:

- Что представляют собой брови Брежнева?
- Усы Сталина на высшем уровне.

Или:

"Пашутылы и хватят, — сказал Брежнев, переклеивая брови под нос (1965).

Отождествление это проистекает из полного прекращения какой бы то ни было критики Сталина с началом брежневской эры.

Эту серию анекдотов пронизывает мысль о ничтожестве

и ординарности Брежнева. Пожалуй, главным ее парадоксом является тот вызывающий недоумение факт, что этот ограниченный и самовлюбленный "мелкий политикан эпохи Сахарова и Солженицына", по определению юмористической энциклопедии XXI века, обрел огромную реальную власть в гигантской стране. Впрочем, это скорее власть узкой устойчивой олигархии, стоящей за ним, чем его лично.

Брежнев наследует Хрущеву в невежестве. После высадки американцев на Луну он требует в кратчайшие сроки высадить советских космонавтов на Солнце. "Но там же такая температура, что и приблизиться невозможно!" — возражают ученые. "Так высадите их ночью!"

Без конца высмеивается косноязычие Брежнева, проистекающее то ли от дефектов речи, то ли от его малограмотности: всякие "сиськи-масиськи" (систематически), "со-сиськи сраные" (социалистические страны) и т.п.

Армянское радио спрашивают:

— Получит ли Брежнев звание генералиссимуса?

— Получит. И сверх того — народного артиста, если сумеет выговорить слово "генералиссимус".

По убеждению анекдотчиков, невежество сочетается в будущем генералиссимусе с непробиваемой тупостью.

Армянское радио спрашивают:

— Мог ли лейтенант Ильин, покушавшийся на Брежнева у Боровицких ворот Кремля, попасть в его шофера?

— Мог: рикошетом от лба Брежнева.

В 70-х годах по мере приближения назначенных Хрущевым сроков построения материально-технической базы коммунизма, снабжение населения стало все более ухудшаться, что породило град анекдотов — в том числе и про Брежнева:

Армянское радио рекомендует хозяйкам торт "Брежнев".

— Сообщите рецепт его приготовления, — просят хозяйки.

— Тот же "Наполеон", только без яиц.

Анекдотчики издеваются над сибаритством Брежнева, над его страстью к роскошным автомобилям, ценным предметам, орденам.

Идет совещание в верхах. Перекур.

Де Голль вынимает серебряный портсигар. На нем надпись: "Президенту Франции — признательная Франция".

Джонсон достает серебряный портсигар. На нем гравировка: "Президенту Соединенных Штатов Америки от благодарного народа".

Брежнев открывает усыпанный бриллиантами золотой портсигар. На нем надпись: "Его императорскому величеству государю Александру Второму от российского дворянства".

После того как в августе 1968 года высшие чехословацкие руководители были отпущены из Москвы, Брежнев говорит Косыгину:

— Какие мировые часы были на Дубчеке!

— А ну, покажь! — просит Косыгин.

В этих двух последних анекдотах отразилось глубокое презрение анекдотчиков к кремлевским "паханам".

Мать Брежнева приехала в Москву посетить сына. Увидев его апартаменты, полные дорогих вещей и прислуги, его гаражи, она расплакалась: "Ой, Ленечка, сыночек! Если красные снова придут, что будет с нами?!"

В одном из анекдотов Брежнев собирается лечь на операцию для расширения грудной клетки: не хватает места для орденов на парадном кителе.

Неугомонное армянское радио интересуется:

— Где был эпицентр последнего землетрясения?

— Под вешалкой, с которой упал китель Брежнева.

Увешанного орденами "бровеносца в потемках" мучают страхи:

Брежневу снится: на Красной площади собрались чехи и принялись есть мацу китайскими палочками.

Другой кошмар:

Китайцы научились воевать, как евреи. А евреи — размножаться, как китайцы.

В анекдотах второй половины 1970-х — начала 1980-х годов настойчиво подчеркивается болезненное дряхление Брежнева, его прогрессирующий маразм:

"Все, что было не со мной, помню!" — напевает Брежнев, подписывая свой мемуарный труд "Малая Земля".

"Дорогой Леонид Ильич слушает!" — отвечает он в телефонную трубку.

В 1980 году взамен завершения строительства материально-технической базы коммунизма, состоялись олимпийские игры.

Открывая Олимпиаду 1980 года, Брежнев произносит:

-О-О-О-О-О!

— Леонид Ильич, это эмблема олимпиады. Текст приветствия ни-жа! — шепчет референт.

Брежнев встречает Маргарет Тэтчер и читает по бумажке:

— Дорогая и многоуважаемая госпожа Индира Ганди!..

— Леонид Ильич, это Маргарет Тэтчер, — подсказывают ему.

— Дорогая и многоуважаемая госпожа Индира Ганди! — читает он снова. Его опять поправляют.

— Сам знаю, что Маргарет Тэтчер, а здесь что написано?

Одна из последних предсмертных миниатюр — выступление Брежнева на траурном заседании, посвященном памяти Су-слова:

— Надо хорошо наградить товарища Пельше: это самый галантный мужчина в Политбюро. Когда на похоронах Суслова, заиграла музыка, только он встал и пригласил вдову танцевать! (1982).

Незадолго до смерти Брежнева возник анекдот, предска-завший его преемника: на партийном форуме выступает Брежнев, как всегда, по бумажке:

— Сегодня мы провожаем в последний путь верного сына нашей партии (читает медленнее) генерального секретаря ЦК КПСС (еще мед-леннее) маршала Советского Союза, Председателя Президиума Вер-ховного Совета Союза ССР Леонида (пауза) Ильича (пауза) Брежнева!

Напряженно всматривается в бумажку, окидывает взглядом свою одежду:

— Извините, товарищи, я снова надел пиджак товарища Андропова! (Лето 1982 г.).

Брежнев умер, но тело его живет.

— Вы слышали, Брежнев умер!

— Правда? Лично?"

Нельзя не заметить, что анекдоты, посвященные Брежне-ву, мелкотемны. В большинстве своем они не связаны с ка-кими бы то ни было историко-политическими событиями. Анекдотчики издеваются над личными качествами неуважа-емого вождя, под властью которого страна в течение восем-надцати лет медленно, но неуклонно сползала к неосталиниз-му. И сами эти качества мелкотравчаты: малограмотность, примитивное корыстолюбие, мелочное тщеславие...

Град насмешек и моментальное — как ножом отрезало — забвение предмета этих насмешек после эпитафии, прозвучавшей в день его смерти:

"Брежнев умер. В сущности он умер уже давно, только Черненко ему не сказал об этом..." (ноябрь 1982 г.).

К ВЛАСТИ ПРИШЛИ ОРГАНЫ

Как только Брежнева похоронили, посыпался град анек-дотов, посвященных его преемнику. В отличие от западных советологов и некоторых их консультантов из "третьей волны", поспешно создавших новую науку "андропологию", сочинители анекдотов об Андропове с самого начала не пи-тали иллюзий относительно интеллектуальности и либера-лизма нового генсека. Не случайно сразу же воскресли и переадресовались Андропову два старых анекдота. В первом из них иностранный корреспондент интересуется, пойдут ли советские люди за Андроповым. "Не пойдут за мной — пойдут за Брежневым", — отвечает Андропов.

В анекдоте 30-х годов такой диалог вели между собой по-койный Ленин и стоящий у власти Сталин. Второй анекдот автоматически перемещен в кабинет Андропова из кабинета Берии. На вопрос о том, почему он повесил над своим столом портрет Пушкина, Андропов (как и раньше — Берия) отвеча-ет: "А как же? Ведь это он первый сказал: "Души прекрас-ные порывы".

Смена героев при неизменной сути — нередкий прием в истории советского политического анекдота.

В быстро растущей андроповской серии анекдотов неиз-менно обыгрывается его кегебистское прошлое. Впрочем, прошлое ли? Его возвышение воспринимается безымянными острословами как усиление КГБ вплоть до поглощения им высшей партийной и государственной власти.

В СССР произошла сексуальная революция. К власти пришли органы.

Новому генсеку приписывается ряд переименований: ЦК КПСС — в ЧК КПСС, Кремля — в Андрополь, Москвы — в ЧеКаго, СССР — в

КГБ (коммунистическое государство будущего). Юз Алешковский недавно в частном письме назвал Ленинград Питекандроповском (так тоже рождаются анекдоты).

В СССР и в Польше стали очень популярными два новых танца: Ярузелька и Андрополька. Исполняя Ярузельку, надо держать руки по швам; исполняя Андропольку, — держать руки за спиной.

С 1983 года в СССР введена новая единица времени — один андроп, равный десяти годам.

На пленуме ЦК. После единогласного избрания Андропова генсеком, он объявляет: "Проголосовавшие, опустите руки и отойдите от стенки!"

Новоизбранный генеральный секретарь ЦК КПСС Ю.Андропов выступает по телевидению и радио с традиционной новогодней речью 31 декабря 1982 года: "Дорогие товарищи! Поздравляю вас с наступлением нового 37-го года!"

Андропов выступает с речью: "Для того чтобы выполнить нашу продовольственную программу, надо сажать, сажать и сажать круглый год, невзирая на погодные условия".

В другом выступлении Андропов говорит:

"...Как и прежде, мы будем бороться за мир и за госбезопасность во всем мире".

- Товарищ Андропов, к вам польский посол.
- Введите.

Армянское радио спрашивают:

- Какую музыку любит больше всего новый генсек?
- Конечно, камерную.

Из той же серии:

- Что такое ДОСААФ?
- Добровольное общество содействия Андропову, Алиеву, Федорчуку.

И еще из той же серии :

- Правда ли, что Андропов представлен к Нобелевской премии по физике?
- Вполне возможно, ибо он открыл, что скорость стука превышает скорость звука.

И наконец:

Ознакомившись со Священным писанием, Андропов пришел к вы-

воду, что конец света можно устроить в одной, отдельно взятой стране.

Итак, новый генсек не может пожаловаться на невнимание неуловимых насмешников к своей особе. Остается только следить за тем, насколько верно ими предсказаны преобладающие тенденции его правления и их динамика.

КУЛЬТОВЫЙ ДВУЧЛЕН: ЛЕНИН — ОЧЕРЕДНОЙ ГЕНСЕК

Как это ни странно, самые уничтожительные и жестокие анекдоты во всей "фюрерской" серии посвящены не Сталину, а Ленину. Злободневная до 1924 года и затем угасшая ленинская тема обретает новую жизнь в анекдотах конца 50-х годов, доходя до апогея в 1970 — в году столетнего юбилея Ленина. Главная тема нового цикла анекдотов о Ленине — развенчание образа, канонизированного официальным и отчасти народным мифом, — образа идеального революционера и идеального человека.

Самые ранние анекдоты, относящиеся, по свидетельству их далеко уже не молодых рассказчиков, к началу 20-х годов, отражают однозначную неприязнь и к Ленину и к Троцкому, который равноправно связывается в анекдотах тех лет с Лениным.

Дали рабочему комнату. Голые стены, в одну гвоздь забит. И мебели всего-то — портреты Ленина и Троцкого (подарок месткома). "Не знаю, — говорит, — кого из них повесить, кого к стенке поставить..." (1921 г.).

Неизменный Рабинович, глядя на плакат: "Ленин умер, но дело его живет", вздыхает: "Лучше бы ты жил, а дело твое умерло!" (1920-е годы).

Язвительно представлена в анекдоте 1930-х годов тотальная нечитаемость произведений основоположников, в том числе Ленина, и глубокое равнодушие к их наследию.

На колхозном торжественном собрании вручают подарки за хорошую работу:

- За отличную работу в поле товарищ Иванова награждается мешком зерна! (Аплодисменты.)

— За отличную работу на ферме товарищ Петрова награждается мешком картошки! (Аплодисменты.)

— За отличную общественную работу товарищ Сидорова награждается собранием сочинений Ленине! (Смех, возглас: "Так ей, бляди, и надо!") (1930-е годы).

После XX-XXII съездов КПСС новое руководство начинает усиленно насаждать преклонение перед Лениным. Культ Ленина был призван служить вытеснению из народной памяти культа Сталина. Одновременно он должен был заполнить опасный для КПСС идеологический вакуум, порожденный в сознании законопослушного советского человека ошеломительным посмертным низведением Сталина с пьедестала. Тот, кто сегодня склонен считать, что искреннего культа Сталина в обществе не было и до XX съезда, пусть припомнит день его похорон — массовый психоз, обернувшийся для Москвы второй и куда более катастрофической, чем первая, Ходынккой.

Наконец, новое руководство жаждало доказать свою преемственность не от Сталина с его "ошибками" и личными "недостатками", "вскрытыми" на XX и XXII съездах, а от Ленина, совершенства которого и велено было воспевать везде: от детских ясель до отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС.

Воспевать давно умершего было удобно, ибо от него уже нельзя было ожидать, что он себя как-то скомпрометирует. Критическое отношение к Ленину могло бы возникнуть (и в узких слоях, как показывают самиздат, тамиздат и анекдоты, возникло) из вдумчивого перечитывания его сочинений и документов его эпохи. Новое послесталинское руководство само их не перечитывало и с достаточными к тому основаниями не ждало этого от большинства народа.

С хрущевских времен в советской пропаганде появилась прочно сопряженная пара: Ленин — царствующий генсек. После отставки или смерти последнего замена его очередным преемником происходит автоматически. Имя Брежнева исчезло с газетных полос на второй день после публикации указов об увековечении его памяти. Зато в ближайшей передовице журнала "Народное образование" имя и полный титул Андропова

были повторены семь раз, три из них — в непосредственной близости к имени Ленина.

Периодическая замена второго члена в культовом двучлене "Ленин — очередной генсек" перестала потрясать общество, как потрясло его в первый и последний раз посмертное развенчание Сталина.

Со времени отставки Хрущева эта операция порождает у большинства советских людей иронию и циническое безразличие к перипетиям внутрикремлевской борьбы за лидерство. Однако Ленин остается в составе культивируемой упряжки навсегда.

На исходе третий десяток лет безудержной эксплуатации Кремлем его образа. И с таким же постоянством рождаются в обществе анекдоты о Ленине, бум которых приходится на 1969-1970 годы (пятидесятилетие первого, "ленинского", субботника и столетие со дня рождения Ленина), после чего наступил резкий спад. Именно тогда, в разгар этой юбилейной горячки, появляется в обращении словечко "остоюбилеело" — взамен общепринятого "осточертело".

Субботник — часто и сам по себе повод для анекдотов. Однако в юбилейном году издевательство над казенным лицемерием обогащается сатирическим развенчанием легенды "об Ильиче с тяжелой балкой на плече" (С.Кирсанов) :

Армянское радио спрашивают:

— Какие существуют пасхи?

— Еврейская — в память исхода из Египта, христианская — в память о воскресении Иисуса Христа, и советская — в память о том, как Ленин дрова таскал.

Обыкновение, особенно частое в конце 1960-х — начале 1970-х годов, приводить в школы, в учреждения и на предприятия людей, которые видели Ленина и как бы освещены лучом его славы, вызывает к жизни целую серию издевательских анекдотов:

Пионерский сбор. Выступает с воспоминаниями участник первого ленинского субботника:

— Вывели нас из цехе и повели не субботник. Подошел ко мне маленький, в кепке, с бородкой, картавый, и говорит: "Берите бревно, товарищ, не стойте". Послал я его подальше. Идет мимо нас высокий, худой, в шинели, тоже с бородкой. "Феликс Эдмундович, разбери-

тешь", — говорит картавый. "Не хочешь бревна носить — будешь лес валить", — говорит худой. Десять лет лес валил, лотом в ссылке маляся, а теперь вот про коммунистический субботник рассказываю.

Настойчивость, всепроникающая надоедливость юбилейной пропаганды порождают встречный поток сюжетов, пародирующих эту раздражающую навязчивость и бесцеремонно снижающих образ Ленина.

Утром рабочий ждет открытия винно-водочного отдела. Он подбрасывает большим пальцем и ловит "картавич" (он же "лысик", он же "вовик" — металлический юбилейный рубль с профилем Ленина) и приговаривает:

— У меня не в Мавзолее... Не залежишься!...

1970-й год. Вступительный экзамен по истории в университете.

- Какой в этом году юбилей?
- Не знаю, этого в учебнике нет.
- Вы что, не читаете газет? Не слушаете радио?
- В нашем городе нет ни газет, ни радио.
- Де из какого же вы городе?
- Из Мухосранска.

Профессор — доценту (тихо):

— А не податься ли нам туда хотя бы на лето?

В психбольнице комиссия обследует идиота:

- Ваше имя?
- Эээ...
- Ваша фамилия?
- Бээ...
- Не что жалуетесь?
- Мээээ...
- А какой сейчас год?
- Юбилейный!!!

- Кем приходится Ленину Голда Меир — вдовой или сестрой?
- С чего ты взял?
- Наше радио полдня говорит про него, полдня — про нее.

Зайчик перебежал дорогу перед автобусом с детьми. Воспитательница спрашивает:

- Кто это, дети?
- Дети молчат.
- Ну, о ком мы поем столько песенок?
- Дети (хором) : "Это дедушка Ленин!"

Армянское радио спрашивают:

— Почему перед ленинским юбилеем снимали столько директоров предприятий?

— Перестарались.

Скульптурная фабрика спроектировала фонтан "Ленинская струя". Мыловаренный завод выпустил мыло "По заветным ленинским местам".

Перфюмерная фабрика — духи "Запах Ильича" и пудру "Ленинский прах".

Ликеро-водочный завод — водку "Ленин в разливе".

Фабрика игрушек — мавзолеей с кнопкой: нажмешь — вылетает гробик со Сталиным.

Часовой завод — часы-броневичок с Лениным-кукушкой: каждый час влезает Ленин не броневичок, протирает руку и говорит: "Товагищи, гголетагская геволуция, о котогой так долго мечтали большевики... ку-ку!"

Кроватный завод выпустил трехспальную кровать "Ленин всегда с нами".

Птицекомбинат — "Яйца Ильича" (яички с портретом Ленина).

В парке открыли стрелковый тир имени Фанни Каплан.

Одновременно советской пропагандой при каждом удобном случае бросается черная тень на Троцкого. Анекдоты издеваются над восхваляемой троицей (Ленин, Крупская, Дзержинский) и непочтительно вплетают в свои сюжеты то Инессу Арманд, то Троцкого в качестве третьих героев адюльтеров "Ленин — Крупская — Арманд", "Ленин — Крупская — Троцкий".

Ленин официальной легенды — пуританин, аскет. Согласно же анекдотам ленинской жизни сопутствуют разврат и пошлость. Тонкость многих из этих мининовелл свидетельствует о начитанности сочиняющих их насмешников.

Мемориальная доска:

"В этом доме Владимир Ильич Ленин скрывался с Инессой Федоровной Арманд от преследований со стороны Надежды Константиновны Крупской".

— Наденька, куда это мои тгусики подевались?

— А пока ты спал, Володя, приходил Анатолий Васильевич Луначарский и забрал их для музея революции.

— Надя, откгой, пожалуйста... Надя, это я, Володя, почему ты не откгываешь?.. Надюша, это я, Вовка-могковка!.. Феликс Эдмундович, она там с Тгоцким, ломайте!

— Скажите, Яков Михайлович, пгавду говогают, будто Феликс Эдмундович в остоте онанизмом занимался?

— Что вы, Владимир Ильич, он там "Капитал" изучал!

— И напгасно, батенька мой, напгасно! Агхизанятнейшая штучка, доложу я вам. И заметьте: совегшенно не отвлекает от геволюционной габоты! Только, гади Бога, не говорите Надежде Константиновне — кгистальной души человек!

— Все работаете, Владимир Ильич? Отдохнули бы, поехали бы за город. С девочками...

— Вот именно, батенька мой, с де-воч-ка-ми! А не с этой политической пгоституткой Тгоцким!

Однако далеко не все анекдоты ленинской серии так безобидны, как те, что приведены выше. В некоторых из них обыврана та плохо известная широкой публике беспощадность, которой пронизаны ленинские выступления, письма и телеграммы советских лет.

— Иосиф Виссарионович, смогли бы вы для дала революции расстрелять десять человек?

— Канэшна, Владимир Ыльыч!

— Скажите, батенька, а десять тысяч человек расстрелять смогли бы, а?

— Канэшна, Владымыр Ыльыч!

— Так-так, батенька мой... А если бы для дала революции нужно было расстрелять десятки миллионов человек? Смогли бы? — при этом Ленин хитро прищурился.

— Канэшна, Владымыр Ыльыч!

— Э, нет, батенька мой, вот тут-то мы бы вас и попгавили!

Пожалуй, самой жестокой и ненавидящей пародией на официальную пропаганду во всей ленинской серии был следующий монолог.

Крупская — детям о Ленине.

— Дорогие дети! Всем известна великая доброта Ленина. Вот я вам расскажу такой случай. Однажды Владимир Ильич решил побриться, а рядом маленький мальчик стоял. Ленин бритвочку точит, а сам на мальчика поглядывает. Вот Ленин побрился, кисточку вымыл и опять бритвочку точит, на мальчика поглядывает. Потом бритвочку вытер и... положил ее в футлярчик. А ведь мог бы и полоснуть!

Этот анекдот, по своему цинизму примыкающий к так называемому "черному юмору" (анекдоты типа "Бьется в тесной печурке Лазо..."), является злой реакцией на склонность

официальной пропаганды умиленно придавать историческое значение таким ленинским чертам и поступкам, которые, казалось бы, естественны для каждого нормального человека. Уделил своему телохранителю кусок хлеба, отослал в детский дом излишки со своего стола (продуктовые посылки своих почитателей), был вежлив с окружающими (далеко не всегда), велел освободить по чьему-то настойчивому ходатайству невинно арестованного, был сравнительно доступен (тоже легенда) и т.д. и т.п. Всем этим велят неумолчно восхищаться на протяжении десятилетий, полагая, по-видимому, эти качества в коммунистическом вожде совершенно исключительными, а не самими собой разумеющимися в каждом мало-мальски порядочном человеке. Так почему бы не удивиться и тому, что "мог бы и полоснуть" мальчика бритвой по горлу, но не полоснул?

Этот сюжет представляется скорее символическим, чем фантастическим, если внимательно перечесть ленинские телеграммы об изъятии всего хлеба у восставших против большевистской власти крестьян, то есть об осуждении их детей на голодную смерть. В примитивных и плоских воспоминаниях Крупской о Ленине порой возникают весьма непривлекательные детали его поведения и черты личности. Так почему бы не приписать ей и это гротескное повествование с его идиотической жутью?

* * *

Наш экскурс в советскую анекдотическую "вождиану" закончен. В рамках журнальной статьи нельзя было привести эту "вождиану" полностью.

Пусть читатель судит, является ли сочинение анекдотов только отдушиной для бессильной злобы, неспособной повлиять ни на что и ни на кого, или представляет собой работу мысли, и в самые страшные времена не перестающей исследовать и оценивать происходящее. Утешительней второе предположение. Будем надеяться, что оно ближе к истине.



Соломон ЦИРЮЛЬНИКОВ

МОРАЛЬНАЯ ДИЛЕММА ИЗРАИЛЯ

1

Приходится начинать этот разговор издалека, тянуть нить из глубины веков. Становление еврейского народа связано мифом о праотце Аврааме, разгромившем идолов. Вознеся в минуты вдохновения свой взор к небу, он помог евреям превратиться из пастушеского племени в народ, исполненный верой в единого Бога. Призывом его стал: "Слушай, Израиль, Бог наш един!"

Монотеизм еврейского народа, по существу, и положил начало его духовности. Эта еврейская духовность находит многообразное проявление вплоть до наших дней. Разве это только игра случая, что три крупнейших столпа человеческой мысли — Маркс, Эйнштейн и Фрейд — происходят именно из еврейского рода. Завязь оказалась крепкой и плод богатым. Даже Гитлер в своих беседах с Раушнингом заметил: "Мы склоняем свои головы перед богами природы. Евреи же привнесли в этот мир мораль, совесть и дух".

Разумеется, в основе своей еврейский народ ничуть не лучше и не хуже других. Но у евреев есть свои национальные черты и особенности, положительные и отрицательные качества, сформировавшиеся на протяжении истории. И в этом смысле еврейская духовность и интеллектуализм — безусловно черты, присущие этому народу.

Вряд ли есть смысл всерьез рассматривать всякого рода политические ярлыки, которые навешивает на мировое еврейство советская пропаганда, и в частности, что "иудаизм" выступает в роли проповедника нацизма, ибо объявляет евреев избранным народом, ставящим себя выше других.

Евреи никогда не стремились к господству над другими народами. Напротив, они были первыми, кто поднял восстание против Римской империи. Их внутренние устремления всегда были направлены к нравственному самоусовершенствованию — а это достигается не обладанием властью, а прежде всего выполнением основных принципов морали и готовностью пойти на жертвы во имя их торжества.

Как известно, евреи действительно были народом избранным — но избранным для жертв и страданий. И этого "преимущества" еврейского народа, остававшегося всегда народом гонимым, невозможно отнять у евреев. В этом смысле гонители евреев действуют против самих себя: своими руками они создают миф об "избранном народе", сыгравший великую защитную роль. Он, этот миф, давал евреям возможность устоять против жесточайших притеснений благодаря осознанию своего морального превосходства перед врагами.

Еврейская духовность нашла свое выражение не столько в интеллектуализме (выразившемся в свое время в форме талмудизма), сколько в еврейской нравственности, в знаменитых десяти заповедях, главная из которых — "не убий".

Об этой нравственной основе еврейства и ее бесконечных модификациях со времени массового истребления евреев в Европе и вплоть до наших дней, мне и хотелось бы повести разговор.

2

Конечно, то, что евреи — избранный народ — это не более чем миф, хотя и имеющий свои корни в прошлом, но все же только миф, ибо нет народов простых и избранных. Но, оставаясь на рельсах и в рамках истории, мы не можем не согласиться с тем фактом, что особая духовность еврейского народа является непреложным фактом. Как писал Гейне в "Признаниях", "если бы всякая гордость происхождением не была бы дурацкой несообразностью в борце за революцию и ее демократические принципы, то пишущий эти строки мог бы гордиться тем, что предки его принадлежали к благородному роду Израиля, что он отпрыск тех мучеников, которые дали миру Бога и нравственность и сражались и страдали на всех боевых полях мысли".

Так говорил наш несравненный Генрих Гейне, который вынужден был еще в молодости купить себе входной билет в европейскую культуру своим переходом в христианство.

Приведем еще одно свидетельство, принадлежащее старейшему еврейскому историку Генриху Грейцу, автору двенадцатитомного труда по истории евреев. По его мнению, древняя Эллада пала только потому, что "у нее не было определенного, вошедшего в сознание народа идеала, никакой жизненной задачи". В противоположность этому, продолжает Грейц, у еврейства был такой идеал и была такая задача. Они-то и "превратили его в национальное целое, обладающее внутренней духовной силой... Среди народов, погрязших в самых низменных пороках, еврейство, развернувшее знамя нравственной чистоты, составляло таким образом единственное исключение".

Только в этом контексте и можно понять смысл, даже можно сказать — судьбоносный смысл, высшей моральной задачи Израиля: оставаться народом, верным самому себе.

Но давайте спросим себя, какие же перипетии и метаморфозы произошли в еврейском народе и его самосознании на протяжении современной еврейской истории. Эта история отмечена, с одной стороны, массовым истреблением миллионов

евреев и, с другой — воссозданием независимого еврейского государства.

Вне всякого сомнения: истребление миллионов евреев только потому, что они евреи, не могло не вселить в них отчаяния и глубокого разочарования. Народ, поставленный перед реальным фактом уничтожения в газовых камерах, не мог не испытать разочарования в самих принципах человеческой морали. Но история, по-видимому, сама позаботилась о компенсации и равновесии. Восстановление еврейской государственности после почти двухтысячелетнего перерыва — это не только уникальное событие в мировой истории и даже не только дополнительное доказательство глубокого своеобразия еврейской судьбы. Это еще и приток свежего воздуха для народа, распираемого на всех дорогах Европы, это, образно говоря, кислородная подушка, давшая ему вначале возможность отдышаться, а затем и дышать во всю силу своих легких. Но вот вопрос: как отразилось восстановление еврейской государственности на моральной ситуации еврейского народа?

3

С точки зрения внутринациональной создание еврейского государства было своего рода перерывом некоей постепенности в жизни народа, протекавшей в странах рассеяния. Как же сказался на моральном самосознании еврейского народа этот перерыв постепенности, превращение евреев из народа гонимого (или, скажем, терпимого в Галуте) — в народ, вершащий самостоятельно свои судьбы и даже вынужденный диктовать свою волю другим народам?

Здесь следует принять во внимание два обстоятельства. В Израиле формируется совершенно новое поколение еврейского народа — израильские "сабры". Они растут и воспитываются в обстановке, которая в корне отличается от еврейского Галута, с его повышенной интеллектуальностью, пристрастием к рефлексии и сомнениям. Израильские сабры —

это дети национально независимого народа, пустившего свои корни во всех отраслях экономики и культуры. Это, конечно, не разрыв ни с еврейским прошлым, ни с еврейскими традициями, но это новое поколение словно бы утратило многие из черт, которые традиционно считались типично еврейскими — гибкость ума, утонченность, обширные знания, самокритичность. Зато сабры выглядят куда более решительными, целеустремленными, деловыми, они верны своей судьбе и не знают, что такое раздвоение личности.

Второе обстоятельство связано с самой сущностью еврейского народа. Из народа сугубо пацифистского, не знавшего войн (за исключением случаев самообороны во время погромов), он превратился в народ, в совершенстве овладевший оружием, способный наносить мощные удары врагам и оплачивать собственной кровью свою национальную независимость.

Когда-то, на заре своего существования, сионизм мечтал о мирной еврейской колонизации Палестины, о создании и развитии в Палестине сети еврейских поселений, в первую очередь земледельческих. Но у ранних сионистов не было и помыслов о применении военной силы или завоевании страны. Однако действительность опрокинула эти мечты — активное арабское сопротивление, которое встретил сионизм на этой земле, поставило его перед тяжелой и жестокой дилеммой: либо поступиться своей миссией, то есть еврейской колонизацией, либо перед лицом арабского сопротивления прибегнуть к силе.

Последнее как раз и означало самую глубокую метаморфозу из всех, пережитых сионизмом. Перестав быть носителем мирной идеи (во всяком случае на Ближнем Востоке), он превратился в силовой фактор, то есть превратился как бы в собственную противоположность.

Это превращение не могло не привести к известным сдвигам в самой системе ценностей Израиля, ибо, как известно, сила и мораль не так-то легко уживаются на нашей грешной земле, и справедливость слишком часто отступает перед лицом силы.

Правда, в этом случае сила была призвана служить исторической справедливости в отношении народа, лишённого национального дома и своей страны. Но, как всегда, в таких случаях встает роковой вопрос о границах применения силы. Особенно, если сила должна применяться по отношению к народу, имеющему свою собственную правду.

4

Сдвиг, происшедший в системе ценностей сионизма, не начал моральной катастрофы. Мне хотелось бы в связи с этим привести высказывание Мартина Бубера, крупнейшего еврейского философа-пацифиста, отстаивавшего еврейско-арабское содружество.

В 1933 году Бубер обратился с открытым письмом к Ганди, в котором выступил против отрицательного отношения Ганди к сионизму и еврейской колонизации Палестины. При этом Бубер считал необходимым сформулировать свою собственную позицию, оценивая ситуацию, создавшуюся в Палестине. "Я не скрою от вас, — пишет Бубер, — что я не был бы среди распявших Христа, как и не был бы среди его сторонников. И это потому, что я не могу не выступить против зла там, где оно угрожает уничтожить добро... Я не хочу насилия, но, если у меня не будет другого выхода избежать ситуации, при которой зло испепелит добро, надеюсь, что и я прибегну к насилию и вручу душу свою Господу Богу..."

В этих словах, с одной стороны, присутствует моральный конфликт из-за самой необходимости прибегнуть к силе, но, с другой — если применение силы будет оправдано, готовность выстоять и выдержать это нравственное испытание.

Первые поколения еврейских поселенцев в Палестине были преисполнены высокой моральной ответственности — "арабская проблема" не давала покоя их совести. Правда, они пытались успокоить себя тем, что общая модернизация и подъем жизненного уровня арабского населения, которые явятся результатом еврейской колонизации, помогут решить

эту острую проблему. Но со временем становилось очевидным, что на палестинской земле нарастает национальный конфликт — борьба двух народов за страну.

Если это и не было катастрофой, то это было все-таки моральным потрясением. Признать, что против сионизма стоит арабское национальное движение, — означало признать, что какая-то доля справедливости была и на арабской стороне, а это как бы ущемляло и еврейскую правду.

Совсем не случайно первые поколения поселенцев болезненно реагировали на создавшуюся ситуацию. Они были воспитаны на еврейской традиции справедливости, к тому же многие из них, выходцы из России, испытали на себе глубокое влияние революционных настроений и идеалов. Они понимали, что с народа, претендующего на моральный приоритет, много взыщется и даже малейшее нарушение им справедливости не может не вызвать у других народов острой реакции.

Вот только одно высказывание, отражающее глубокие колебания духа первых еврейских поселенцев. В 1909 году властитель дум того времени А.Д.Гордон писал: "Страна эта — наша, до тех пор, пока народ Израиля живет и не забывает своей страны, но, с другой стороны, нельзя сказать, что и у арабов нет своей доли в этой стране. Вопрос в том, в каком смысле и в какой мере она — наша, и в какой — их. И как привести в соответствие требования обеих сторон. Вопрос этот не так прост и требует очень большого внимания. Одно можно сказать с уверенностью: эта земля будет принадлежать той стороне, которая окажется более способной страдать из-за нее и трудиться на ней. К этому обязывает логика, к этому обязывают справедливость, к этому обязывает природа вещей" ("Иррациональное решение").

5

С тех пор утекло много воды и пролито много крови. Еврейско-арабские противоречия обернулись острым военно-политическим конфликтом, но за всем этим скрывается чрез-

вычайно острая моральная сторона проблемы, служащая как бы подпочвой этого конфликта.

Аргументы каждой из сторон — арабской и еврейской — хорошо известны, и здесь вряд ли возможно добавить что-то новое. Главное же заключается в том, что ни одной из сторон нельзя отказать в известной доле справедливости.

Можно с легким сердцем пройти мимо проарабской агитации Советского Союза, насквозь лживой и граничащей с явным антисемитизмом. Все эти утверждения, взятые напрокат из "Протоколов Сионских мудрецов", относительно стремления сионизма к мировому господству и его связей с американским империализмом, вряд ли даже могут быть названы аргументами. Все это не может вызвать ничего, кроме презрения, чего нельзя сказать о самой сути еврейско-арабской проблемы. Справедливость требует встать стеной против арабских поползновений "сбросить евреев в море", она требует осудить арабский террор против жителей Израиля, вина которых только в том, что они евреи. Но то же чувство справедливости не может примириться с любыми формами ущемления прав арабов, с brutальными методами войны против них (как это было теперь в Ливане), с отрицанием прав палестинцев на их национальную независимость.

С моральной точки зрения израильская сторона основывается на историческом праве евреев на Палестину как на свою древнюю родину, страну своих праотцов. Но на самом деле центр тяжести вопроса об историческом праве должен быть обращен не во вне, а как бы внутрь общей еврейско-арабской проблемы, иначе говоря, вопрос в том, как будет использовано это историческое право.

Могут ли евреи, используя его, игнорировать тот факт, что многие поколения арабов живут на этой земле? В этом моральное острие вопроса.

В годы английского мандата арабы составляли подавляющее большинство страны. В качестве национального меньшинства евреи не раз становились жертвами насилия и кровавых нападений с их стороны. И это в значительной мере снимало моральную остроту проблемы. Арабские жалобы на

захват еврейскими поселенцами земель феллахов имели мало оснований. Характерным для еврейской колонизации Палестины было освоение свободных земель, осушение болот, интенсификация сельского хозяйства, расширявшая возможности и евреев и арабов.

Но уже во время войны за освобождение 1948 года начался ощущаться качественный перевес евреев, хотя и тогда они составляли только треть или немного более трети населения.

Всякая война связана с эксцессами, которые невозможно предотвратить. Такой была и война за освобождение: были случаи разрушения арабских поселений и изгнания арабов с насиженных мест. Но справедливость требует признать, что это были именно отдельные, случайные эксцессы. Общим принципом Израиля была "моральная чистота оружия".

Так в чем же она все-таки сегодня, моральная дилемма Израиля?

6

Как это ни парадоксально, но она кроется в блестящей победе Израиля в Шестидневной войне (такова уж диалектика истории!), которая принесла Израилю большие территориальные завоевания и среди них Иудею, Самарию, Газу, которые были колыбелью еврейской истории, колыбелью древнего Израиля.

Известно, что на первых порах Израиль готов был возвратить арабам большую часть этих территорий в обмен на подлинный и справедливый мир. Но арабы ответили на это созданием в Хартуме Фронта отказа: ни мира, ни мирных переговоров!

Запоздалой реакцией на Хартум явился политический переворот в Израиле 1977 года. В результате к власти пришли партии, политическим лозунгом которых стал: "Целостный Эрец Исраэль", предполагающий аннексию завоеванных территорий, составляющих древнюю родину Израиля. Однако никакие лозунги не способны были изменить того факта, что эти территории заселены компактным арабским большинст-

вом, и только чрезвычайно длительный оккупационный режим (направленный на подавление арабского сопротивления) может обеспечить еврейское заселение этих земель.

Должен ли Израиль превратиться в государство подавления другого народа? Должна ли сила Израиля, направленная на самозащиту, превратиться в силу подавления? Должен ли Израиль поставить себя в перспективе перед тяжким выбором — либо превратиться в двунациональное государство (благодаря высокому демографическому коэффициенту арабов в целостном Израиле), либо частичное или полное изгнание арабов?

Все эти вопросы — образно говоря — стучат в сердце Израиля. Не несет ли все это опасность нравственного перерождения еврейского государства, изменения его моральной сущности? Историческое право еврейского народа на земли своей древней родины сталкивается здесь с насильственным присоединением арабских территорий. Что же перевесит? Массовое изгнание арабов (голоса за это раздаются то здесь, то там) может стать реальной возможностью во время войны — и это обернется моральной катастрофой не только для Израиля, но и для всего еврейского народа.

Защитники идей целостного Израиля считают, что нет никакого несчастья в том, что арабы, имеющие 21 национальное государство, будут национальным меньшинством в Израиле. Но в этом нет никакого ответа на национальные устремления палестинских арабов, сложившихся в народ и живущих на этой земле веками как на своей национальной Родине.

Другой фундаментальный аргумент, которым широко пользуются сторонники целостного Израиля, бьет, как кнут, по неверующим, шельмуя их (воображаемое) лицемерие. Примером здесь может служить одно из не столь давних выступлений бывшего начальника генерального штаба Израильской армии Рафаэля Эйтана, обращенное к тем, кто "кокетничает своей душевной красотой и великодушием". "Красивые душой, — заявил Эйтан, — должны быть последовательны. Если не дальше границ 67-года, то почему дальше — границ 47 года? Если это грабеж, то и это грабеж!.. Если мы

настоящие праведники, то следует возратить и Яффо, и Галилею, и Нагарию. Где вообще границы с точки зрения моральной?" (газета "Гаарец", 18 марта 1983 г.).

Что можно ответить на эту гневную филиппику? Подобного рода гневные обличители забывают, что своими призывами они набрасывают тень на весь сионизм в целом, объединяя в одно целое современные насильственные методы аннексии и мирную еврейскую колонизацию, начиная с первых ее шагов.

В истории Израиля были войны — и войны. Если мы возьмем войну 48-го года, расширившую границы страны, то следует помнить, что сам раздел Палестины на два государства был рассчитан на мирное сотрудничество обоих государств. Арабская агрессия перечеркнула эти границы и сделала невозможным еврейско-арабское сосуществование в их рамках. Кроме этого, одно дело границы 48-го года, оставляющие место для компромисса, другое дело — аннексия завоеванных территорий 67-го года, исключая возможность всякого компромисса.

7

В заключение давайте спросим себя: где же источники этой ориентации на целостный Израиль (несмотря на ее насильственный характер) ?

Кажется, мы не ошибемся, если укажем на два таких источника. Во-первых, это влияние еврейской катастрофы, вызвавшей в определенных кругах еврейства крайне националистическую реакцию. Во-вторых, это влияние бесконечных войн с арабами, вселивших неверие в возможность более или менее прочного мира на Ближнем Востоке. Возможное сосуществование арабов и евреев мыслится только при условии господства еврейской силы. Компромисс считается не только невозможным, но и нежелательным, поскольку он обязывает к уступкам.

Таков механизм силовой политики Израиля. Ее моральная подкладка в том, что после зла, причиненного евреям на-

цистами и арабами, никому не дано право давать уроки нравственности еврейскому народу.

Да, Израиль вынужден воевать, вынужден пользоваться силой, чтобы обеспечить свое существование. В этом причина того, что народ Израиля отвечает презрением на проповеди ложного пацифизма, ставящего под сомнение необходимость крепить оборону еврейского государства. Но одно дело — навязанные Израилю войны, другое — войны, инспирируемые им же самим, какой была, например, Ливанская война. Одно дело — использование силы в меру необходимости, другое — пользование ею сверх всякой меры. В этом главный источник раскола израильского общества.

Несмотря на необходимость использования силы, значительная часть Израиля исповедует и по сей день веру в еврейский принцип — не силой, а духом!

Один из лучших поэтов Израиля, теперь уже умерший Натан Альтерман, выразил эту мысль в своей поэтической манере.

В стихотворении "Большое правило" он описывает урок, преподанный старым мудрым литейщиком стали своему подручному: "Держи инструмент крепко, но слабо... Иногда кажется, был бы он более силен, если бы стал немного слабее". Сила, даже необходимая сила, переливающаяся через край, может принести вред.

Сегодня под одной крышей Израиля сосуществует как бы две страны. Одна — представляющая героическую историю еврейского народа, еврейский разум и еврейскую нравственность, и другая — рассматривающая Израиль как осажденную крепость, спасение которой в силе и только в силе.

В то время как формула первого Израиля — и сила и справедливость, формула второго Израиля — только сила.

Конечно, оба Израиля связаны единой еврейской судьбой, и никому не дано увидеть, что таится в тумане грядущего. Будет ошибкой думать, что моральная дилемма Израиля может быть решена лишь в сфере духа. Но верность принципам морали всегда служила и продолжает служить

еврейскому народу, сильному не числом, но качеством — своим неизменно острым оружием в борьбе за существование.

* * *

Можно утверждать, что Израиль вступил в новую полосу своего развития. До сих пор вопрос о будущем Израиля был вопросом его национальной безопасности перед лицом враждебного арабского мира.

Теперь, особенно после Ливанской войны, появился новый, внутренний аспект того же вопроса: сможет ли Израиль сохранить единство в сложном внутреннем конфликте между силой и справедливостью, потрясающем основы государства. В конечном счете, это и есть распытие, на котором оказалась страна.

АБСТРАКТНАЯ МОРАЛЬ И ЖИВОЙ ИЗРАИЛЬ

От редакции

Публикуемая в этом номере статья Соломона Цирюльникова не может не вызвать интереса у наших читателей. Она интересна уже потому, что ее автор предельно честно и откровенно выражает взгляды либеральных и лево настроенных кругов Израиля, требующих немедленного вывода его вооруженных сил из Ливана и решения палестинской проблемы.

В своих рассуждениях Цирюльников опирается на широко известные концепции еврейской морали, которая складывалась на протяжении тысячелетий и исключают всякого рода двойную бухгалтерию в подходе к пониманию справедливости. В сознании народа-изгнанника, который пережил европейскую катастрофу, унесшую шесть миллионов, не может существовать двух моралей — одна для евреев, другая для арабов.

Но вот теперь, как утверждается в статье, народ Израиля, отстаивая границы своей древней родины, не хочет больше считаться со справедливостью для арабов и потому оказывается перед угрозой нравственного перерождения, утраты своей исторически сложившейся моральной сущности.

По-видимому, с автором нельзя не согласиться в том, что вопрос о возможности сосуществования между Израилем и его арабскими со-

седями действительно не прост. Он уходит своими истоками глубоко в историю и несет на себе влияние чрезвычайно острого и необычайно длительного национально-религиозного конфликта. Все мы являемся свидетелями того, сколь мало значат всякого рода политические маневры и декларации (пусть даже проистекающие из самых благих намерений!) на пути реального урегулирования этого конфликта.

И хотя Израиль, по крайней мере формально, сегодня живет в условиях мира, вряд ли кто-то возьмет на себя смелость делать прогнозы относительно стабильности такого мира. А это создает в стране особое настроение, особую обстановку, о которой Сол Белоу в своей книге "Иерусалим и обратно. Размышления" писал следующее: "Разумеется, многие израильтяне отказываются признать, что историческая неуверенность еще не ликвидирована, считая Израиль неизменным фактором, который невозможно поколебать. Для них вопрос решен. Они нация среди прочих наций и останутся ею навсегда. Приходит усилением воли освободиться от этой веры, чтобы прикоснуться к реальной действительности. А реальная действительность в Израиле — это всеобщее стремление избавиться от вечной неуверенности" (разрядка наша).

Таков реальный социально-психологический фон, который сопутствует жизни израильского общества. Готово ли оно к миру? Стремится ли к нему? Готово ли ради этого на любые, сколь бы они ни были затяжными переговоры с арабами? Похоже, что ради мира израильтяне готовы на все — на переговоры, на компромиссы, на уступки. Единственное, на что они не согласны, — это рисковать своим существованием, рисковать самой своей страной. Даже, если этот риск очень мал, даже если он равен одному против ста, — все равно он не может стать предметом пусть даже самых многообещающих политических торгов.

Соломон Цирюльников переносит центр тяжести охватившей страну дискуссии в чисто моральную плоскость. Он говорит в общем правильные вещи, когда требует, чтобы применение силы было ограничено требованиями справедливости и чтобы равное право на такую справедливость имели и евреи и арабы. Все это так. Но, признав все эти утверждения верными, давайте все-таки попробуем перенести проблему из моральной в политическую сферу.

Так вот, не слишком предаваясь разного рода спекуляциям, сделаем допущение, что Израиль, следуя призывам левых партий, ушел с Западного берега реки Иордан и предоставил палестинцам самим решать свою собственную судьбу. Можно вполне представить, что отнюдь не экстремисты, а умеренные силы придут к власти в возрожденном палестинском государстве, которое даже пойдет на какие-то реальные соглашения с Израилем.

Но уж раз мы перешли в плоскость политики — плоскость, где не остается места эмоциям, а действуют жестокие и трезвые факты, то давайте (опять же не предаваясь спекуляциям) оставим место и для другой возможности. Разве в этом случае мы не можем представить, что так называемая "родина для палестинцев" при определенных условиях может оказаться в руках крайних экстремистов — из тех, что стремят-

ся сбросить в море не только Израиль, но самого своего лидера Ясира Арафата за то, что он до сих пор терпит еврейское государство.

Не надо иметь особо богатое воображение, чтобы представить, какую позицию займет Советский Союз при таком развитии событий. И что будет означать для Израиля размещение плотной массы советских ракет в нескольких десятках миль от Кфар Сабы или даже Тель-Авива. Можно допустить, что Соединенные Штаты не допустят такого хода событий. Но мы ведь условились говорить не о их жестком, необратимом развитии, а лишь об одной из возможностей. Так вот, вернемся теперь все к тому же вопросу: если такая возможность — хотя бы на один процент существует, можно ли пойти на риск, который она за собой влечет?

Мы живем в жестоком и не очень-то справедливом мире, и в дни, когда еврейское государство пришло к столу мировой политики, нормы этого мира уже давно сложились.

И что-то не видно среди них ни десяти заповедей, ни главной из них "не убий", а похоже, как раз все наоборот: сила, жестокость и безнравственность играют судьбами миллионов людей. Еврейский народ в своем государстве отстаивает иную мораль и иные принципы, но прежде всего он отстаивает само государство, свой единственный Израиль, рождение которого было так дорого оплачено еврейским народом.

Хочешь быть философом —
пиши романы.

А.Камю. Дневник

Борис ХАЗАНОВ

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ЗАГАДКА

Наше поведение подчинено законам, столь же непреложным, как и законы, описывающие поведение частицы в физической системе, так что если вы захотите, к примеру, исчезнуть, то окажется, что выбор возможностей весьма невелик. С этой точки зрения сэр Джон Филдинг, член парламента от консервативной партии, пропавший бесследно в пятницу 13 июля 1973 года, нарушил все законы. Филдинг был образцовым семьянином, не имел долгов, у него не было личных недругов и не было причин покончить жизнь самоубийством. Его политические взгляды исключали предположение, что он стал жертвой террористов. Его психическое здоровье не оставляло желать лучшего. Другими словами, он не подходил ни под одну из рубрик, к которым относятся, по данным криминальной статистики, внезапно исчезающие люди его возраста; оставалось предположить, что его унес дьявол. С какой целью? Последний вопрос также остался без ответа, и, провозившись некоторое время с этим делом, чины Нью-

Скотленд-Ярда пришли к выводу, что дело тухлое. Поэтому оно было передано некоему Майку Дженнингсу, следователю на вторых ролях. Дженнингс не пользовался расположением начальства, карьера ему не светила, и это отчасти побудило его отступить от рутины. Он задался целью не столько выяснить обстоятельства предполагаемой гибели сэра Джона, сколько восстановить как можно подробнее его интимную жизнь, скрытую за респектабельным внешним покровом. Естественно, он натолкнулся на сопротивление семьи. И все же ему как будто удалось напасть на след. Между прочим, замечательным подспорьем для его интуиции послужило художественное изображение мисс Изабеллы Доджсон, знакомой сына Филдинга и начинающей писательницы, с которой следователю пришлось познакомиться по ходу дела.

Оказалось, что она и следователь думают об одном и том же. Необходимость отшлифовать версию заставила их встретиться несколько раз в неофициальной обстановке, причем с каждой встречей беседы их становились все продолжительней. И, наконец, история завершилась в квартире Изабеллы юмористически-нежной сценой, о которой автор рассказывает не без некоторого замешательства, но и с видимым удовольствием. Когда был обсужден последний вариант, съеден вкусный ужин и допита бутылка очень недурного вина, настало время для поцелуев, и некоторое время спустя юная хозяйка, пылая от смущения, позволила совлечь с себя одежду, в чем покойный член парламента был уже несколько не виноват.

Ибо он очутился, попросту говоря, за бортом повествования: тайна его исчезновения не то чтобы осталась вовсе неразгаданной, — хотя, по-видимому, Филдинга так и не нашли, — но перестала быть интересной. Детективный сюжет увенчался поистине неожиданной развязкой, — словно поезд сошел с рельсов и преспокойно укатил в поле, — и в этом, насколько я понимаю, состоит насмешливое глубокомыслие новеллы Джона Фаулза "The Enigma". Судьбе понадобилось совершить хитрейший обходной маневр. Нужно было, чтобы некий политический деятель провалился сквозь землю, чтобы полиция

сбилась с ног, чтобы рухнули одна за другой все версии и за дело взялся нетривиально мыслящий следователь, — и все это лишь ради того, чтобы двое молодых людей могли встретиться и влюбиться друг в друга. Когда это наконец случилось, прочее утратило интерес и смысл.

Загадка — не в том, что произошло с сэром Джоном Филдингом, а в том, каким образом в реальную жизнь людей вторгается предначертание.

2. ДВЕ ВЕРСИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Жгучий вопрос, представляет ли собой наше существование игру случайностей, или жизнь есть реализация некоторого проекта, никогда не будет решен однозначно. В сущности, он уже сформулирован так, что на него невозможно ответить. Один мудрец (Витгенштейн) сказал: "Смысл мира должен лежать вне мира; в мире же все есть как оно есть и происходит так, как происходит". Смысл жизни, очевидно, не в том, чтобы жить, но в том, чтобы привести ее в соответствие с чем-то таким, что не может быть описано в терминах самого жизненного процесса. Таким образом, мы пытаемся решить с помощью некоторых понятий то, что лежит за пределами этих понятий.

Предположим, вы читаете текст — но текст, который появляется в самом процессе чтения, сию минуту. Вы пробегаете глазами чистый лист, и ваш взгляд засекает его строчками. Следовательно, этот текст существует лишь постольку, поскольку ваши глаза его читают, и вы вправе сказать, что вы сами непрерывно, сиюминутно его создаете. Однако трудно, невозможно отделаться от смутного чувства, что в каком-то смысле он существовал заранее.

Это чувство особенно сильно, когда вы обзрываете текст, уже прочитанный вами однажды: когда вспоминаешь прожитое. В воспоминании жизнь предстает запутанно-логичной, причудливо-последовательной, почти целеустремленной. В ней просматривается какой-то непостижимый чертеж. Следствия

вываливаются из причин, словно яйца изо рта у фокусника. В каждом повороте судьбы просвечивают, как в незрелом плоде, семена будущего. Есть тут и пустоцветы, ложные ходы, но вам понятно, что для общей композиции они тоже необходимы. Главное, что такая композиция существует, что перед вами — текст. И, без сомнения, должен был существовать некто, замысливший весь этот сюжет. Разве не очевидно, что обстоятельства, при которых я встретился с любимой женщиной, заметил ее, а она заметила меня, были искуснейшим образом подстроены? Искуснейшим, ибо неведомый автор постарался скрыться за внешней естественностью событий, так что встреча произошла как бы сама собой.

И точно так же можно интерпретировать будущее. С единственной, правда, оговоркой, что неперемное условие этого текста, предсуществующего смысла, проекта и как там его еще можно назвать, — то, что он идентифицируется лишь задним числом. То есть не раньше, чем когда будущее станет прошлым. Лишь прочитав книгу, вы понимаете, что это была книга, а не набор ничего не значащих значков. Но тогда получается, что оговорка уничтожает самую посылку, получается заколдованный круг. И все рушится, и становится ясно, что порядок жизни — иллюзия, оптический обман, артефакт памяти, наделенной свойством беллетризовать прошлое, тем свойством, о котором говорил Музиль, когда видимость логической связи достигается при помощи простейшего повествовательного приема — нанизывания событий на пресловутую "нить рассказа". Перебирая свою жизнь, мы рассказываем ее самим себе, не замечая, что память водит нас за нос; мы оказываемся во власти банальнейшей из метафор, всерьез поверив, что кто-то придумал для нас сценарий. Не будет ли честней признать, что жизнь — это тонущее во мраке поле неисчислимых возможностей и тонкий луч рисует на нем петлистую кривую, не поддающуюся рациональному истолкованию? В самом деле, как происходили зигзаги и повороты моей судьбы, как случилось событие, которое я считаю самым важным в моей жизни? Выпустили из заключения — по чистой случайности. Приехал в чужой город, мог поехать и в

другой. Поступил в институт, хотя вполне могли не принять. Летом отправился в Казахстан. Нужно было, чтобы кто-то придумал абсурдную кампанию освоения целины, чтобы студентов мобилизовали для участия в этой кампании, чтобы по возвращении был устроен вечер целинников в городском театре. Трамваи не ходят — вышла из строя линия, герой романа опаздывает, партер переполнен. Пришлось переться на балкон. Рядом — какая-то девушка.

Уму непостижимо, какое провидение способно протраться сквозь эту чащобу случайных совпадений.

Можно, конечно, сказать, что тайнопись жизни — это мы сами. Программа есть, просто она заложена в нас самих; есть текст, записанный с помощью четырехбуквенного алфавита наследственности — нуклеотидного кода. Мы становимся такими, а не другими, следуя этой программе. Мы выбираем подруг, а они нас, потому что так записано в их и нашем геном. Он и ответствен за "стечение обстоятельств", за курс, который мы прокладываем в океане случайностей, за то, что реализуются ничтожно малые вероятности. Недавно стали известны первые результаты исследования, предпринятого в Миннесотском университете: изучалась судьба однойцевых близнецов, разлученных с первых дней жизни и ничего не знавших друг о друге. Девять пар, прослеженных до сих пор, вели себя так, как будто это был один человек, существующий в двух лицах. Их биографии представляли собой как бы два пересказа одного и того же романа. Этот роман был не что иное, как завещание предков. Можно задать себе вопрос: если бы у Эйхмана был брат-близнец, стал бы и он нацистским преступником? План, выполняемый в течение всей жизни, срок которой тоже преуказан, — вот чем оказывается наша свобода.

Но как примириться с сознанием, что в иные минуты жизни и детерминизм, и свобода воли были одинаково бесполезны, ибо ровно ничем не отличались от свободы, которой обладает монета: упасть вверх орлом или решкой, не все ли равно? — а между тем именно этот момент, этот номер трамвая, этот шаг вправо или влево решил твою судьбу, и вся жизнь

могла уйти совсем в другую сторону, не случись этой случайности!

Великое Почему, путь, приведший Катюшу Маслову и князя Нехлюдова к воскресению, дробится на бесчисленные ничтожные "почему-то", теряется в пустыне банальностей и бессмыслиц: потому что полицейский врач допустил ошибку в протоколе, потому что судья встал утром не с той ноги, и прочее в этом роде.

3. АНТИВРЕМЯ

На вопрос о проекте всегда будет два противоположных ответа, и в конце концов нам не остается ничего другого, как примириться с тем, что их два. Из будущего шествует предопределение. Навстречу ему катится безглазая случайность. Это две волны, которые входят одна в другую, как пальцы рук. Можно говорить, по аналогии с физической интерференцией, об интерференции времени и того, что движется ему навстречу, — антивремени.

"Если в космическом пространстве вы повстречаетесь с кораблем, идущим из отдаленных миров, и астронавт протянет вам левую руку, берегитесь! Возможно, он состоит из антивещества". Физика (это цитата из фейнмановских лекций) изгаляется над здравым смыслом. Пойдем ли мы еще дальше и сделаем предположение, что и время астронавта — это антивремя, то есть время, текущее в обратном направлении? Но не стоит вдаваться в эти материи; примем существование двух встречных противоположенных потоков как метафору, смысл которой — соединить две точки зрения на ход событий. Если время есть представление о жизни как о чистой спонтанности, то антивремя выворачивает его наизнанку, и тогда обнажаются следы работы закройщика — жизнь предстает как реализация некоторого плана. Почему бы и нам не потешиться над здравомыслием?

— Предложение обозреть события с другого конца — из будущего — быть может, не так уж и фантастично. Оно имеет ре-

альную аналогию: память. Воспоминание — это созерцание прошлого глазами того, кто знает будущее. Воспоминание — это и есть модель упорядочения событий задним числом, модель антивремени; нужно только отвлечься от того, кто вспоминает: от субъекта. Нужно представить себе дело так, что воспоминания есть, а вспоминающего — нет. Или, если угодно, "сублимировать" его.

В романе "Жизнь впереди" Эмиля Ажара (он же Ромэн Гари) есть следующий эпизод: мальчик-араб, которого приютила старая еврейка, бродит по парижским улицам, заходит в какой-то дом, в большой темный зал, и видит там удивительное зрелище. Город, разрушенный в результате налета, сам собой восстает из пепла. Кирпичи укладываются в стены, руины снова превращаются в красивые дома, вывернутые с корнем деревья выстраиваются вдоль бульваров, и мертвые люди оживают, встают и идут по своим делам. Оказывается, он попал в студию документальных фильмов. Кому-то вздумалось прокрутить старую военную ленту от конца к началу.

Мальчик — свидетель чуда, какого не в силах сотворить и сам господь Бог, но чудо и то, что мадам Роза, его приемная бабка, уцелела во время войны и оккупации, что сам мальчик сумел сохранить ум, доброту и воображение в злом и безумном мире. Чудо — возвращение смысла в бессмысленный поток событий. Чудо совершается не во времени, а в антивремени. Подобно воспоминанию, антивремя возвращает жизнь умершим людям и погибшим деревьям: кто-то вспомнил о нас и вернул миру гармонию и смысл. Теперь мы можем расшифровать, что означает "сублимация" и кто такой этот Кто-то. Воспоминающий субъект — это Бог.

Томистская теология утверждает, что бытие Бога — вне времени: для Него нет ни бесконечного прошлого, ни мгновенного настоящего. Но тогда мир оказался бы вне Бога. Скорее нужно предположить, что область существования Бога — это будущее. Это будущее никогда не настанет, ибо тогда оно перестало бы быть будущим. Но оттуда Он творит мир, вспоминая о мире, который сам по себе есть как бы Его

прошлое. Можно сказать, что мы живем в Его памяти, что Он непрерывно извлекает нас из своего подсознания. Поэтому то, что в физическом времени представляется хаосом случайностей, в божественном антивремени воспоминаний предстает как порядок и цель. Действительность можно рассматривать как воспоминание Бога о мире. Бога, которого в этом мире нет, потому что Он всегда впереди, всегда в будущем и время для Него течет наоборот.

Эта фраза покажется уже вовсе безумной. Считайте, что она не была произнесена.

4. КОРОЛЬ ЗА ШАХМАТАМИ

Поговорим о литературе, о том, ради чего затеян весь этот разговор. Поговорим о принципах конструирования повествовательной прозы. Если, конечно, такая ученая формула уместна в устах дилетанта.

Литературное творчество можно было бы назвать игрой в Бога. Не имеет значения, кто вы: нобелевский лауреат или безвестный графоман. С пером в руке сочинитель вымышленных историй всесилен, как Саваоф. Из букв и слов, по учению Каббалы, сотворено все сущее. Из букв и слов материнского языка, из собственной памяти и фантазии, между которыми он сознательно стирает границу, писатель создает автономный мир со своим пространством и временем.

Представим себе игрока за доской, на которой одновременно находится он сам в качестве главной фигуры. То есть он воображает себя шахматной фигурой, втянутой в водоворот событий и страстей, с перспективой неотвратимой гибели в эндшпиле. Это небожитель, который сошел на созданную им землю. Тогда ему станет внятными душевный мир деревянных сограждан, он будет делить с ними их амбиции, надежды и тайные страхи, увидит в них своих братьев или недругов; шахматная иерархия представится ему сословной или социальной иерархией, тесный мир доски — единственным реальным миром; он будет считать его самодовлеющим ми-

ром, где естественный детерминизм вещей каким-то образом сочетается со свободой воли субъекта. Этот шахматный король, не колеблясь, объявит себя венцом творения, а затем спросит себя, кто же его сотворил. Существование Игрока предстанет перед ним в виде метафизической гипотезы, как предмет богословских штудий или как откровение мистика. Он будет рассуждать о своем уделе на доске и, как Иов, начнет препираться с воображаемым Игроком; он заговорит, вслед за Спинозой, о могуществе разума и шахматной свободе; по примеру Ивана Карамазова, он надменно вернет Игроку билет. И ему покажется абсурдной и вместе с тем соблазнительной мысль о том, что его время, время шахмат, представляет собой лишь актуализацию вечности, в которой пребывает Игрок.

Такова ситуация романиста и его творения. Она узаконивает протivoестественное сосуществование двух точек зрения на происходящее (так на рисунке художника изображена луна над лесом, избушка, внутри избушки горница и в окошке — луна). В художественной прозе сопряжены два времени, время персонажей и время автора, всегда находящегося в будущем по отношению к ним; автор и персонажи не могут оказаться в одном и том же "пространственно-временном" континууме". Время писателя — это аналог вечности. Оно актуализовано в непрерывном протivoтечении времени и антивремени действующих лиц, которые живут как придется, как им вздумается, выкидывают неожиданные штуки наподобие той, которую выкинула Татьяна, — а вместе с тем исполняют волю и замысел автора.

Странно все-таки, что никому не приходило в голову формулировать поэтику в терминах теологии. Так же, впрочем, как и в понятиях "натуральной философии" — теоретической физики. Между тем сближение напрашивается само собой. Привыкнув к нему, мы не станем удивляться тому, что в рамках романа или новеллы можно ставить вопросы о свободе воли и случае, о предопределении, о сущности времени и о том, что последовательность событий можно представить как равнодействующую двух векторов. Мы поймем право-

мочность внутренней точки зрения (аналогичной точке зрения наблюдателя внутри инерциальной системы отсчета), на которую можно встать, как если бы мы, читатели, толкались среди героев, как если бы мы стояли на доске в ряду фигур и мир романа был нашим единственным миром. С этой внутрироманной точки зрения можно запросто усомниться в существовании самого автора (Нехлюдову и Катюше не приходит в голову мысль, что существует Толстой) либо можно предлагать различные гипотезы о роли автора, подобно тому как теолог конструирует различные модели познания Бога и способы взаимоотношений Бога и мира. Вся авантюра сотворения мира, вся романная космология может быть рассмотрена с другого конца — глазами действующих лиц. Наконец, нас не удивит, что поэтика способна претерпевать перемены, сравнимые с теми, какие произошли в соседних отсеках культуры — в философии и науке. Какие же это перемены?

5. ВЕЛИКИЕ КЛАДБИЩА

Черная ночь, туннель, куда уходит, весь в огнях, гремя на стыках, поезд истории, — дорога изгнания, — таков образ смены веков, в результате которой нас занесло куда-то совсем не туда: ибо мы не здешние. Мы изгнанники. Мы эмигранты из девятнадцатого века. Девятнадцатый век, словно отчий дом, сохранил для нас запах родины и значение разумной нормы: в жизни, в литературе, в науке.

Мы стыдимся наших новых манер, грязных ногтей, нашей лохматой и неопрятной мысли, нашего хамского языка. В Девятнадцатом веке так себя не вели. Никто не позволил бы себе так выражаться на людях. Мы опустились. Поглядели бы на нас наши отцы.

Девятнадцатый век — как бы это объяснить юнцам, которые родились уже здесь и там никогда не были? Девятнадцатый век — это что-то вроде неторопливой поездки в рессорном экипаже по чисто выметенной мостовой, под вежливый цокот копыт, мимо красивых сумрачных домов с высокими

окнами, в которых отражен серебряный закат. Много места, тишина, мало людей. Девятнадцатый век — это немецкая музыка и философия, французский и русский роман. Это трезвость, ясность, чинность, спокойный юмор, порядок — даже в сновидениях. Здравый смысл и определенность во всем. В науке девятнадцатый век — это век монистической мысли и господства монопараметрических систем.

Можно говорить о типологии научных и философских построений. Монопараметрический тип, как кажется, характерен для эпохи, о которой идет речь. Таковы три великих построения второй половины XIX века: эволюционная теория Дарвина, марксизм и фрейдизм. (Последний, хотя и сложился на рубеже нового столетия, типологически принадлежит минувшему.)

Бросаются в глаза черты сходства всех трех теорий. Во-первых, историзм: иудейская стрела времени, на которую насажена действительность. Все возникло откуда-то и летит куда-то. Обозримый мир есть не что иное, как история, застигнутая в определенный момент как бы вспышкой магния. Все наличное многообразие явлений выводится из прошлого, все будущее дремлет в настоящем. Структурный подход подчинен историческому, поэтому система живых организмов есть протокол эволюции, классовая структура общества — сколок с его истории и т.п.

Вторая черта — это особый деспотизм теории. С некоторого момента теория, превратившись в законченную систему, начинает жить самостоятельной жизнью и поработает самого fundатора: отныне вся его забота — служить системе. Деспотизм теории порождает стремление к неограниченной экспансии. Родившись в лоне частной науки, теория распространяется на другие области знания, ширится и обрастает вассальными княжествами. Появляется фрейдистская культурология, марксистская эстетика, социальный дарвинизм и пр.

И, наконец, третья и главная черта, которую собственно и надо называть монопараметричностью. Имеется корешок, из которого все растет. Существует универсальный всеобъясняющий механизм, постулируется единый фактор или пер-

вопричина, к которой сводятся в конечном счете все явления и процессы. В дарвинизме это естественный отбор и выживание наиболее приспособленных. В марксизме — производительные силы общества. В учении Фрейда — равнодушный к морали сексуальный инстинкт.

Предполагается, что единая установка, или "монистический взгляд" — на природу, историю, культуру, на человеческую личность, — есть необходимое условие научности. Но при этом не замечают, что внутри системы действуют силы, незаметно превращающие науку в нечто совсем другое. Все три теории провозглашают трезвый подход к действительности и освобождение от иллюзий. Однако начав с заявлений о трезвости, о суровом реализме, теория под конец теряет всякую трезвость. Это уже не наука, а идеология. И даже не идеология, а откровение. Ибо она не только пригодна для объяснения всего на свете, но и несет спасительную весть. Эта спасительная весть заключена в самой теории, философы по-разному объясняли мир, а его надо переделать. Такая задача по плечу лишь всеобъемлющему учению. Жажда универсальности заставляет с вожделием озирать все шире раздвигающиеся горизонты. Подобно империям, великие теории стремятся поработить мир. Поэтому они оказываются соперницами, втайне мечтающими пожрать друг друга. Теория естественного отбора посягает на сферу общественных отношений, марксизм доказывает неполноценность фрейдизма, фрейдизм — ограниченность марксизма.

Самое удивительное — то, что все три системы, возвестившие грубую правду жизни и конец идеализма, прямой дорогой идут по стопам мыслителя-спиритуалиста, от которого они сознательно или бессознательно отстранялись. Тут-то и выясняется, что тип мышления, как некий рок, существенней того, что составляет видимое содержание научной мысли. Все три теории ориентированы на великий прототип — систему Гегеля, хотя бы одному из творцов (Марксу) казалось, что он ставит эту систему с головы на ноги, другой (Дарвин) демонстрировал откровенное презрение ко всякой метафизике, а третий (Фрейд) полагал, что его всеобъемлющая теория великолепно объясняет и самого Гегеля.

6. МЯТЕЖ

Сейчас мы отчетливо чувствуем, что время деспотических универсальных систем прошло, как прошла — или проходит — эпоха империй: оставшиеся, вроде нашего отечества, выглядят какими-то архаическими страшилищами. Великие теории похожи на высотные здания, выстроенные в Москве тридцать лет назад. Ожидалось, что с высоты их будут видны тучные пажи будущего. Будущее, какое ни есть, наступило — и с отворачиванием взирает на эти гигантские окаменелости. Не в том дело, что системы XIX века давно уже не в силах обуздать лавину новых открытий и фактов. Под сомнение поставлен самый принцип системности. Речь идет о принципиально новом отношении к действительности. Формируется новое зрение.

Один частный факт из истории науки приобретает значение пророчества — словно первый удар молнии по куполу единоупорядоченного знания. Он буквально совпал с началом нового века. В 1900 году Гильберт в речи на математическом конгрессе сформулировал двадцать три фундаментальных проблемы математики; решение их обещало раз навсегда обосновать абсолютную непротиворечивость всего корпуса математической науки. Однако уже доказательство непротиворечивости оснований арифметики наткнулось на непреодолимые трудности. Тогда еще, по-видимому, не догадывались, чем все это пахнет.

Истинный переворот в мышлении, отделенный от нас всего лишь одним поколением, нужно связать с двумя новшествами, которые явились почти одновременно. Не то чтобы они были причиной нового мироощущения, но они его как бы санкционировали. Принцип дополненности Бора дезавуировал закон исключенного третьего: взамен бескомпромиссного "или — или" вас вынуждают признать совместимость двух взаимоисключающих описаний действительности. Теорема Геделя (точнее, две теоремы, но вторая вытекает из первой) заставила по-новому взглянуть на всю структуру знания вообще. Всякая непротиворечивая система оказывает-

ся неполной; непротиворечивость — признак неразработанности системы; рано или поздно в ее недрах созревает проблема, которую она не в силах будет разрешить.

Далее под сомнением оказалась принципиальная независимость объекта наблюдения от наблюдающего субъекта. Испокон веку наука стояла на том, что узнать истину о вещах можно лишь отступив от них на некоторое расстояние; научный подход предполагает четкую грань между тем, кто изучает, и тем, что изучают. В квантовомеханическом мире невозможно говорить о существовании объектов самих по себе. Наблюдение, описание, анализ — акты, вторгающиеся в действительность и ставшие ее частью. Предпринимаются безумные с точки зрения здравого смысла попытки релятивировать субъективность и объективность в системе "объект — прибор — наблюдатель" выясняется, что способность наблюдающего субъекта отдавать самому себе отчет о своем состоянии меняет состояние наблюдаемого объекта. И вся эта вакханалия происходит во владениях строжайшей из наук, все это облекается в математические формулы и докладывается на ученых конгрессах.

Наконец, нужно упомянуть о все более настойчивой экспансии вероятностных оценок и представлений. Мир контрастов и четких контуров уступает место вероятностному миру. В этом мире вещи и явления погружены в зыбкую светотень. Сущности пожираются событиями. Объекты не столько существуют, сколько обладают "тенденцией существовать" (выражение Гейзенберга), о явлении не говорится, что оно есть или его нет, что оно должно быть или не должно быть, — но что оно более или менее вероятно. В таком облаке мерцающей возможности разгуливает вчерашняя несомненная причинность. С точки зрения классического детерминизма Фигаро может быть или здесь, или там, во всяком случае, в каком-нибудь определенном месте. С вероятностной точки зрения Фигаро скорее размазан по сцене: он здесь (с вероятностью p) и там (с вероятностью $1 - p$).

7. СКВОЗЬ ВОЛНИСТЫЕ ТУМАНЫ

Есть особое удовольствие в том, чтобы расшатывать железную клетку логики. Есть наслаждение в бою и в чувстве, с которым заглядываешь в голубую бездну безумия. Порой в уме брезжит догадка, что если порядок вещей в самом деле отражает порядок идей, если мир сотворен высшим разумом, то этот разум, возможно, шизофреничный. Во всяком случае, не евклидовский, если воспользоваться термином Григория Померанца.

Нашей культуре две тысячи лет, в своих основах она остается все той же иудео-эллинско-христианской культурой. Но какую странную — с точки зрения воображаемого наблюдателя из XIX века — метаморфозу она претерпела за последние восемьдесят или даже пятьдесят лет. Это касается всех ее сфер. Удивительную параллель с наукой обнаруживают и живопись, и музыка (первое оркестровое произведение Шенберга, выполненное в двенадцатитоновой технике, написано в 1927-28 годах — это дата создания квантовой механики). Можно представить себе, с каким недоумением, с какой растерянностью и ужасом слушают эту музыку в залах консерваторий из своих золоченых рам Гайдн, Вебер или какой-нибудь Мендельсон. Можно вообразить, какой безобразной галиматьей, если не прямо продуктом расстроенной психики, показались бы наши приобретения пришельцу из прошлого века.

Творцы систем содрогнулись бы, услышав о том, что в их построениях причину и следствие можно спокойно поменять местами, что древо мира растет корнями вверх, что истина может быть созерцаема не только при дневном свете разума, но и в лунном сиянии мифа. Потрясена и развеялась вера в возможность единственного и непротиворечивого описания мира, похерены однозначность и единая общеобязательная перспектива. Редукционизму, этой мании классиков все сводить к первоначальному фактору, новый век противопоставляет принципиальную двусмысленность решений. В диалектической теологии о Боге нельзя сказать, что Он существует,

но это не значит, что Он не существует; Бог апостола Павла, согласно толкованию Карла Барта, есть "не-бытие мира". Попробуйте уразуметь эту странно затягивающую мысль.

Тут приходит в голову много других примеров, из которых я ограничусь двумя. Создатель аналитической психологии Карл Юнг построил свою концепцию бессознательного, казалось бы, на позитивной естественнонаучной основе. Архетипы наследственны, укоренены в филогенезе; у них есть конкретный анатомический субстрат. Спуститься в подвалы психики попросту означает спуститься в низшие этажи нервной системы. Но это только одна сторона дела, ибо одновременно он готов встать на противоположную точку зрения — точку зрения, если можно так выразиться, самого бессознательного. С этой точки зрения первичным феноменом является само бессознательное. Бессознательное представляет собой изначальную "психоидную" стихию, на которой, как плоты на воде, покачиваются и наши суждения, и наши рассудочные конструкции, и все наши знания о нервной системе, и все наши представления о мире и о себе, и в конце концов сама теория Юнга. Вся теория колеблется на весах двусмысленности. Истина — это и то, и это. Научный язык не исключает мифологического, а каким-то образом сосуществует с ним.

Другой пример — из более близкой нам сферы. В романе Т.Манна "Доктор Фаустус" рассказано о том, как некий музыкант продал душу дьяволу. Эта история, как и легенда, которую она пародирует, заключает в себе абсолютный смысл: и князь тьмы, и человеческая душа, и феноменальный творческий дар, купленный такой ценой, — суть высшая и конечная реальность. Но вместе с тем здесь есть и весьма обыкновенная медицинская подоплека, так что можно переосмыслить всю историю, не изменив в ней ни одного факта: композитор болен, его творчество есть выражение его болезни. Причем вы то и дело замечаете, что знак и обозначаемое меняются местами. На какой версии остановиться? Где причина, а где следствие? Вы можете считать сатану галлюцинацией, симптомом недуга. Собственно, в этом нет даже никаких

сомнений. И тем не менее все, что предшествовало заражению, вся цепь событий — явно не случайна. Уж не был ли таинственный, который повел юного Леверкюна в бордель, истинным посланцем от "него"? И дальше все выстраивается словно по чьей-то злой воле: неудачное лечение, смерть одного врача, арест второго... Время и антивремя выступают в этом романе в качестве двух взаимоисключающих онтологий. Вместе с тем они нерасторжимы. И чтобы подчеркнуть эту нерасторжимость, вводится гениально-остроумный ход. Научное объяснение случившемуся дает сам дьявол, который читает небольшую историко-медицинскую лекцию. Духи ада воспользовались для своих целей невидимой порчей, крохотным биченосцем, тайно проникающим в мозг, — бледной спирохетой.

8. БОГ В КРУАССЕ

Литература давно уже приучила нас к таким фокусам, просто мы не отдавали себе в этом отчета. То, что в других областях, в науке может быть релятивировано и в крайнем случае вынесено за скобки, что можно объявить способом описания, "языком" (поведение монеты не меняется от того, опишем ли мы ее падение орлом или решкой в терминах механики или в терминах свободы воли), то в художественной литературе превращается в самую суть; можно сказать, что способ описания действительности в литературе — это и есть ее действительность. В конечном счете художественное мышление деформируется по тем же законам, по каким перестраивается мышление научное и философское. Сдвиг умов носит всеобщий характер; перемены совершаются на тех глубинах духа, откуда произрастают и наука, и теология, и искусство. Стало обычным цитировать фразу Эйнштейна о том, что "Братья Карамазовы" дали ему больше, чем Гаусс; и стало общим местом сравнение Достоевского и Эйнштейна. А ведь это были еще цветочки.

Деструкция классического реализма поразительно напоминает кризис классического естествознания. Мир реалистичес-

кого романа можно поставить в соответствие вселенной Ньютона. Этот мир абсолютного пространства, своего рода ящик без стенок, и абсолютного математического времени, текущего равномерно и одинаково для всех. Мир, видимый метанаблюдателем с неподвижной точки зрения, вынесенной как бы за его пределы. В нее Бог поместил Ньютона. Сюда, в эту высшую точку зрения, автор классического романа поместил читателя. Сам же автор сделал вид, что его нет. Знаменитая фраза Флобера (в письме к м-ль Леруайе де Шантпи от 18 марта 1857 г.) — "Художник в своем творении должен, подобно Богу в природе, быть незримым и всемогущим; его надо всюду чувствовать, но не видеть", — знаменитая эта фраза содержит целую философию или, лучше сказать, теологию художественной литературы. Переписка Флобера — это Священное писание литературы. В том же письме находится автопортрет бога: "Мне тридцать пять лет, ростом я пяти футов и восьми дюймов, у меня плечи, как у крючника, и нервная раздражительность, как у мещаночки. Я холост и одинок".

Время от времени бог, одетый в широкие штаны и халат, ниспадающий до полу, встает из дубового кресла и подходит к окну. Внизу течет спокойная серебристо-серая река. Вдали видны силуэты руанских церквей. И так же, как он смотрит из своей большой комнаты на этот пейзаж, так взирает он со своей одинокой высоты на мир, сотворенный его воображением, но существующий как бы сам по себе. "Художник должен устроиться так, чтобы потомки думали, что он не существовал". Дело в том, что сама вселенная есть наглядное доказательство существования творца, и никаких других доказательств не нужно. Поэтому он нигде не является в ней самолично. Другими словами, Бог по отношению к этой системе есть некоторый метаобъект и может быть вынесен за скобки.

Можно сказать, повторив слова Лапласа — и мысленно пробегая путь от деизма XVII века к позитивизму XIX, — что "эта гипотеза нам не нужна": в таком мире можно обойтись вообще без Бога. Мир реалистического романа, как и мир природы, функционирует, повинувшись собственным, "естественным" и умопостигаемым законам. Уверенность Флобе-

ра, что для каждого предмета есть только одно определение — нужно лишь уметь его отыскать, — равнозначна вере в то, что существует единая и единообразная истина о мире. Постигнуть ее, согласно тому же Лапласу, может лишь всеобъемлющий сверхразум. Так Бог, изгнанный из природы, незаметно возвращается в нее. В этом мире Бог есть Великое подразумеваемое.

И вот вся эта литературная теология, весь этот мир, не допускающий сомнений и кривотолков, в котором все есть, как оно есть и происходит так, как происходит, — дрожит и покрывается рябью, словно отражение на воде. Замечательно, что знамя литературного нигилизма и атеизма поднимает яростный борец с атеизмом. Я говорю о "Бесах", книге, которую мастер из Круассе, не колеблясь, забраковал бы от начала до конца, книге, политическое и публицистическое содержание которой заслонило от многих глаз открытие, в ней совершенное, книге, которую упрекали за искажение действительности, не догадавшись, в чем именно состояло это искажение.

Какой-то человек без определенных занятий, без биографии, даже без имени, никому не интересный, но который всех знает и всеми интересуется, без которого не обходится ни одно происшествие, — бегаёт по городу из одного дома в другой, собирает сплетни, пересказывает слухи. И весь этот бесформенный ком предлагается в качестве отчета о случившемся или, лучше сказать, в качестве самой действительности. В конце концов неважно, кто он такой. Этот господин Г-в даже не лицо, не я и не он, а скорее "оно": выродившийся потомок греческого хора, персонифицированная молва, дурацкое общественное мнение, каким оно только и может быть в тухлом провинциальном городе, где дает гастроль шайка подонков, если не присных самого дьявола. Но во всяком случае это не персонаж-рассказчик и тем более — не всеведущий автор-бог. Ибо совершенно очевидно, что бог, знающий истину, в этом романе аннулирован.

Никто не может ручаться за абсолютную достоверность сведений, которые вам сообщают. Вы имеете дело не с фак-

тами, а с версиями. Весь роман проникнут духом подозрительности, столь свойственной характеру человека, который его написал. И не в том штука, что все они там водят за нос друг друга, между тем как автор откуда-то издалека наблюдает за ними, — а в том, что сама действительность, как в квантовой физике, неотделима от ее оценок. Она столько раз такая, сколько раз ее оценивают. Вот истинное начало "эры подозрений", о которой спохватилась, три четверти века спустя, Натали Саррот. Жуткий смысл фигур и событий брезжит из темных и гиблых низин этого мира, онтология его удручающе ненадежна, познание сомнительно. Последней инстанции, владеющей полной истиной, попросту нет, и этим объясняется чувство тягостного беспокойства, которое не отпускает читателя.

9. НЕНАСТОЯЩЕЕ НАСТОЯЩЕЕ

Я бы хотел заметить, что речь совсем не идет о "модерне" в техническом смысле, о каких-нибудь новых видах словесного, стилистического или композиционного раздрызга, о разрушении формы. Сейчас как-то особенно чувствуется, что короткая весна авангардистов — позади. На фоне великой диверсии, потрясшей фундамент, их увеселения выглядят мелким хулиганством. Авангардизм устарел и сам воспринимается как эпигонство. Между тем как проза настоящих новаторов очень часто никакой формальной новизной не обладает. Такова проза Кафки, в высшей степени благопристойная и старомодная.

Самая интонация ее обнадеживает. Мерные неторопливые периоды, безукоризненный синтаксис. Ничто так не свидетельствует о честных намерениях, как хороший синтаксис. Почти бюрократическая безмятежность, с которой ведется рассказ, похожий на деловой отчет, внушает доверие к составителю отчета. (Кафка был на прекрасном счету у начальства. Четырнадцать лет беспорочной службы в страховой компании.)

"Был поздний вечер, когда К. прибыл на место. Деревня

лежала в глубоком снегу. Холм и замок на нем невозможно было различить все тонуло в тумане и тьме, и ни единого огонька не светилось оттуда. К. долго стоял на деревянном мосту, который вел от тракта к деревне, и всматривался туда, где, казалось, ничего не было. Потом пошел искать ночлега..."

"Кто-то наверняка оклеветал Йозефа К., так как однажды утром он был арестован, хотя, кажется, ничего плохого не делал. Кухарка г-жи Грубах, его хозяйки, обыкновенно приносившая ему к восьми часам завтрак, на сей раз не пришла. Этого еще никогда не было..."

Так как Йозеф К., по-видимому, совершил преступление, на него заведено дело. Так как против К. затеяно дело, он, надо думать, преступник. Мир в романах "Процесс" и "Замок" не бессмыслен и не хаотичен. Наоборот: в нем, как сказал кто-то, геометрия предшествует духу. В нем сохранено единство перспективы и соблюдены правила объективного повествования. Есть кто-то, кто взирает с недостижимых высот на этот мир, кто читает в сердцах и творит суд и знает истину. Есть Бог. Коварство всего предприятия состоит в том, что этот Бог ненормален.

Это не пародия, не гротеск и не сатира. Ни тени желая высмеять государство и общество, заклеить бюрократию, например австро-венгерскую бюрократию, здесь нет. Автор "Замка" чтит законы так же, как и служащие самого замка. С точки зрения поэтики девятнадцатого века он просто сошел с ума, и почти таким же было мнение о Кафке его первых читателей. На это можно было бы возразить, что если кто и спятил, то не Кафка, а мир. Но и мир не спятил. Просто когда миновал первый шок от чтения этой прозы, стало понятно, что старинное здравомыслие с его мерками нормы и патологии непригодно для нашего мира. Мы просто не живем больше в мире Эвклида, св. Фомы, Ньютона и Лапласа. Кажется, что Кафка видит свой мир во сне, но правильной было бы сказать, что благополучный мир XIX века увидел кошмарный сон, и сном этим был Кафка.

В воспоминаниях Брода есть такой эпизод. Кафка пришел

в гости к товарищу, и ему нужно пройти через комнату, где на диване спит отец Брода. Он крадется на цыпочках. Вдруг спящий открыл глаза. "Тс-с! — прошептал Кафка. — Читайте, что я вам приснился".

10. ОПРОВЕРЖЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ

В романе XX века чувствуешь себя так же неуютно, как и в мире XX века. Слова "уют" и "неуют" следовало бы узаконить в качестве литературоведческих терминов. Они не имеют отношения к сюжету как таковому. Жуткий криминальный роман с семью трупами в финале благоустроен не хуже, чем "Дворянское гнездо". Море Улисса, сизые Симплегады и кромка кровавой зари на горизонте уютней и комфортабельней, чем Дублин, по которому блуждает Улисс Джойса.

В доброе старое время романист впускал читателя в книгу, словно в добропорядочный дом, где в передней вас встречает слуга, а на пороге гостиной — улыбающаяся хозяйка. Вам представляли по очереди присутствующих и предлагали кресло, откуда удобно следить за беседой. Сейчас вас заталкивают куда-то, где вас никто не ждал. Вас пихают локтями, к вам поворачиваются спиной, слышны обрывки непонятных разговоров и сиплая брань. В этом вертепе не может быть речи ни о каких приличиях. Но уйти, выбраться на волю вы не можете. Вы заперты с этим сбродом в одной камере.

Так хочется домой, в девятнадцатый век! Но никакого дома больше нет. Новый роман неуютен, потому что он ставит под сомнение прочность действительности, в которой вы продолжали жить, не заметив, что на дворе другое тысячелетие. Новый роман строится на другой логике, его пространство искривлено (как у Кафки) либо представляет собой систему пространств, вставленных друг в друга, как матрешки, и тогда в нем вовсе отрицается возможность единого всеохватывающего взгляда: противоположности не исключают друг друга, и допустимо сосуществование нескольких логик, нечто абсолютно немислимое у Флобера и Толстого. С новы-

ми беллетристами нужно держать ухо востро. Они вам говорят одно, а думают другое. Когда же вы наконец настраиваетесь на это другое, оказывается, что снова все наоборот и никто ничего такого не думал. Представление о конечном объекте, если можно так выразиться, отсутствует: оно заменено системой взаимообратных символов. А символизирует В, но В служит символом для А. Все опрокидывается в какую-то вневременность. Время выворачивается, как перчатка, сжимается и растягивается, как резина. События обращаются вспять, либо (как в книгах Фолкнера) совершают бесконечное движение по кругу, мультиплицируются: об одном и том же происшествии без конца рассказывается заново, словно время буксует, но каждый раз событие выглядит по-другому. Это не значит, что истины нет, это значит лишь, что нужно отказаться от иллюзии единообразного видения истины. Реальность событий измеряется их вероятностью. Поступки людей алогичны, но мало помалу выясняется, что это и есть единственно возможная логика. О главном говорится в придаточном предложении, тривиальное подается как невероятное или сомнительное, проблематичное становится правилом.

Бессмысленно препираться, что это: закат искусства или новое рождение. Смотря откуда глядеть — из прошлого или из будущего. За эстетическим и метафизическим безобразием постклассического романа, как и за кажущейся абсурдностью пост классической науки, брезжит новая гармония и рисуется новая красота. Теперь уже не геометрия — образ красоты мира, как говаривал старик Кеплер, но нечто трудно описываемое в привычных нам терминах, нечто такое, о чем можно говорить разве только языком символов.

Феникс литературы плещет крыльями над горкой пепла, оставшейся от него.

БИБЛИОТЕКА БЕСТСЕЛЛЕРОВ "ВРЕМЯ И МЫ"

В ближайшее время выходит:

ГОРДОН БРУК-ШЕФЕРД

СУДЬБА СОВЕТСКИХ ПЕРЕБЕЖЧИКОВ,

ЭТО КНИГА О ПОБЕГЕ НА ЗАПАД ВИДНЫХ СОВЕТСКИХ РАЗВЕДЧИКОВ, ПАРТИЙНЫХ РАБОТНИКОВ И ДИПЛОМАТОВ (ИГНАТИЯ РЕЙССА, ВАЛЬТЕРА КРИВИЦКОГО, ГРИГОРИЯ БЕСЕДОВСКОГО, ГЕОРГИЯ АГАБЕКОВА, АЛЕКСАНДРА ОРЛОВА, БОРИСА БАЖАНОВА И ДР.), О ИХ СТРЕМЛЕНИИ ОТКРЫТЬ ЗАПАДУ ГЛАЗА НА СТАЛИНСКУЮ РОССИЮ, О ИХ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ЗАПАДНЫМИ РАЗВЕДКАМИ, О ПРОИСКАХ СОВЕТСКОЙ АГЕНТУРЫ В ЕВРОПЕ И НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ.

КНИГА РАССКАЗЫВАЕТ, КАК ЗЛОВЕЩАЯ ТЕНЬ РАСПРАВЫ НЕОТСТУПНО ПРЕСЛЕДУЕТ КАЖДОГО СОВЕТСКОГО ПЕРЕБЕЖЧИКА. РАНО ИЛИ ПОЗДНО РУКА СОВЕТСКОЙ ПОЛИЦИИ НАСТИГАЕТ ОДНИХ, И ПЕРЕД ВЕЧНОЙ УГРОЗОЙ РАСПРАВЫ ДО ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ ЖИЗНИ ЖИВУТ ДРУГИЕ.

ГОРДОН БРУК-ШЕФЕРД — ИЗВЕСТНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ И ПУБЛИЦИСТ — ПРЕДЛАГАЕТ ЧИТАТЕЛЮ ДО СИХ ПОР НЕИЗВЕСТНУЮ, УНИКАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, СОБРАННУЮ ИМ ВО МНОГИХ СТРАНАХ МИРА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ НАД КНИГОЙ.

КНИГА ПЕРЕЖИЛА НЕСКОЛЬКО ИЗДАНИЙ, ПЕРЕВЕДЕНА НА МНОГИЕ ЯЗЫКИ МИРА И СЕЙЧАС ВПЕРВЫЕ ВЫХОДИТ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

Цена книги — 75 долларов. При предварительном заказе — 12 долларов. Пересылка — 1 доллар.

*Заказы и чеки высылать по адресу: **Time and We**
475 Fifth ave, room 511- A
New York, New York, 10017*

Ирина ОДОЕВЦЕВА

БУНИН

Глава из книги "На берегах Сены"

Март 1948 года.

Все тот же дом в Жуан-ле-Пэн, Бунин сидит в кресле у окна нашей комнаты. В окне "дальний закат, как персидская шаль". На фоне его четко обрисовывается его гордый тонкий профиль, похожий на профиль какого-то римского императора на античной медали.

— Я почти с самого детства, как только стал сознательно читать и понимать, очень много думал о героях и героинях романов. О героинях больше, чем о героях, и это меня самого удивляло. — Женщины были мне как-то ближе, понятнее, их образы для меня полнее воплощались. Они как будто жили перед моими глазами, и я не только сочувствовал их горестям и радостям, но и соучаствовал в их жизни. Я влюблялся в героинь романов. Они снились мне. Даже днем иногда я чувствовал их присутствие. Сижу бывало за столом у себя и зубрю немецкие вокабулы — когда меня взяли из гимназии

со мной мой брат Юлий занимался и очень налегал на иностранные языки — и вдруг чувствую, что кто-то стоит за моей спиной, наклоняется надо мной, кладет мне руку на плечо и легкая душистая прядь волос касается моей щеки. Я оглядывался — никого. Комната пуста и дверь плотно закрыта — меня охватывает такая тоска. Такое одиночество. Хоть о стену головой.

Он вздыхает и, помолчав, продолжает:

— Да, все эти женщины и девушки из романов, в которых я по очереди был фантастически влюблен, играли большую роль в моем тогдашнем диком одиночестве. Я жалел, что мне никогда не придется встретиться с ними. Как я жалел, да еще и сейчас жалею, что никогда не встречался с Анночкой.

— С Анночкой? — удивленно переспрашиваю я. С какой Анночкой?

— С Анной Карениной, конечно. Для меня не существует более пленительного женского образа. Я никогда не мог и теперь еще не могу без волнения вспоминать о ней. И о моей влюбленности в нее.

— А Наташа Ростова? Для меня Наташа...

Но он не дает мне договорить.

— Ну уж нет, простите. Никакого сравнения между ними быть не может. Вначале Наташа, конечно, прелестна и обаятельна. Но ведь вся эта прелесть, все это обаяние превращается в родильную машину. В конце Наташа просто отвратительна. Неряшливая, простоволосая, в капоте с засранной пленкой в руках. И вечно или беременная, или кормящая грудью очередного новорожденного. Мне беременность и все, что с ней связано, всегда внушала омерзение. Не понимаю, как можно восхищаться женщиной, которая "ступает непроворно, неся сосуд нерукотворный, в который небо снизошло" — как пышно выразился Брюсов. Страсть Толстого к детопроизводству — ведь у него самого было семнадцать детей, я никак, несмотря на все мое преклонение перед ним, понять не могу. Во мне она вызывает только брезгливость. Как, впрочем, я уверен, в большинстве мужчин. А вот женщины, те действительно часто одержимы ею.

Была у моих родителей кухарка, отличная стряпуха. Таких пирогов, как она пекла, я никогда нигде не ел. И нрава прекрасного — работает не покладая рук, веселая, зубы скалит и песнями заливается с утра до ночи. Только иногда на нее тоска находила. Сидит бывало под окошком пригорюнившись и жалобно вздыхает: "Родонуть бы мне!" Протомится так с месяц, все хозяйство запустит. И лишь как снова забеременеет, снова развеселится, поет, пироги печет. А как родит дите, — свезет его в "шпитательный" — незамужняя была. Через год, много два затомится, затоскует — и опять: "Родонуть бы мне!" — стонет.

Он с такой чисто бабьей иступленной страстностью приносит это "родонуть бы мне", что я смеюсь, безудержно раскатисто смеюсь.

— Родонуть бы мне — повторяю я сквозь смех.

— Прошла охота хохотать? — спрашивает он, неодобрительно глядя на меня, — а веселиться абсолютно нечего. Не только мне, да и вам, насколько мне известно. Ведь и ваши дела-то не ахти как хороши. А мои просто хуже не бывает.

И он начинает жаловаться.

— Разве это жалкое прозябанье на земле можно назвать жизнью? А? Как по-вашему?

Я обрываю смех и растерянно молчу. Да и что я могу ему сказать? Ведь я уже столько раз слышала все эти жалобы.

Он поворачивается к окну и смотрит на великолепный, триумфальный, феерический закат. Смотрит долго, не отрываясь. И вдруг говорит задумчиво, как бы про себя.

— Какая красота! Господи, какая красота.

Он поворачивает ко мне лицо, освещенное закатным светом.

— Меня иногда красота пронзает до боли. Иногда я, несмотря ни на что, чувствую острое ощущение блаженства, захлестывающего, уносящего меня, даже и теперь. Такое сумасшедшее ощущение счастья, что я готов плакать и на коленях благодарить Бога за счастье жить. Такой восторг, что становится страшно и дышать трудно. Будто у меня, как, помните, у Мцыри, в груди пламя, и оно сжигает меня. Или нет. Буд-

то во мне не одна, а сотни человеческих жизней. Сотни молодых, безудержных, смелых, бессмертных жизней. Будто я бессмертен, никогда не умру.

Я смотрю на его освещенное закатом лицо. И мне кажется, что оно окружено сиянием, как лики святых на иконах.

Пауза, и он продолжает уже без вдохновения, без полета, тихим матовым голосом:

— Зато, как тяжело потом, когда снова придешь в себя и посмотришь с холодным вниманием вокруг... Но, нет, вы ошиблись, Михаил Юрьевич, жизнь не пустая и глупая шутка, а дьявольская ловушка, издевательство. А все-таки... ведь не всегда смотришь с холодным вниманием...

И за эти минуты можно все простить.

Вести беседу с Буниным и легко и трудно.

Трудно, потому что ему скоро надоедает обычное общепринятое перебрасывание пустых фраз о здоровье, текущих домашних делах и прочем, и он, не стесняясь, начинает зевать, проявляя зевотой скуку. Легко, потому что, предложив ему интересную тему, можно спокойно слушать, как он ее развивает, зная, что он всегда говорит с удовольствием, увлекаясь собственными мыслями и умением их высказывать просто и ясно.

Я говорю:

— У вас много описаний природы. Для вас природа...

— Да, — перебивает он меня, не дослушав. — Вам кажется, что я слишком много пишу о природе, знаю, знаю, — напрасно. Я скорее слишком мало, а не слишком много пишу о природе. Для меня природа так же важна, как человек. Если не важнее. И всегда так было. Вот я недавно перечитывал свои юношеские записки. Ведь я писал их только для себя. Мне и в голову не приходило их показать кому-нибудь, даже брату Юлию. А сколько описаний ветра, облаков, травы, леса, сколько в них встреч с природой! Я писал о природе гораздо больше, чем о людях, с которыми сталкивался. Я любил, я просто был влюблен в природу. Мне хотелось слиться с ней, стать небом, скалой, морем, ветром. Я мучился, не умея этого высказать словами. Я выходил утром, страстно взволно-

ванный и шел в лес, как идут на любовное свидание. Как остро я любил жизнь и все живое. До страсти. Пастернак назвал свой сборник стихов "Сестра моя жизнь". Но для меня жизнь была не только сестра, а сестра и мать и любовница, и жена — вечная женственность.

И вдруг, меняя тон, уже мне:

— Как это у Гете в последней строке "Фауста"?

Я удивленно смотрю на него.

— Ну-ка, вы, наверно, знаете.

И я говорю:

— Das ewich weibliche Zicht uns heran.

Он кивает. — Так, так. Как правильно, какой чудесный конец. Дальше уже и сам Гете ничего сказать не мог. Das ewich weibliche...

Мне хочется спросить: "Вечная женственность" — разве природа? Ведь у Соловьева она София Мудрость". Но я не спрашиваю. Я боюсь прервать его. Я слушаю.

— Писатели, не чувствующие природу, скверные, никчемные писатели. Глухие, слепые кроты. Сколько раз я повторяю это, а в вашу голову вбить не могу. Ваш Достоевский — вот кого бы надо было, как когда-то футуристы намеревались Пушкина, "сбросить с корабля современности". Сбросить с палубы в океан, чтобы его акулы сожрали. Вы ведь никогда не видели акул? Как они за пароходом стаяй плывут в ожидании добычи и головы их на аршин из воды высовываются. У них пасть низко помещена. Замечательное зрелище, вроде балета. Я их в Тихом океане наблюдал. Вот бы им вашего Достоевского со всеми его бездарными романами бросить. Он-то уж о природе никогда не писал. У него всегда дождь, слякоть, туман и на лестницах воняет кошками. У него ведь нет описаний природы — от бездарности.

— Ну а Чехов? — прерываю я его, чтобы в который раз не слышать, как он поносит "своего врага Достоевского". Он разводит руками.

— Это уже особь статья. Победителя не судят. Чехов умеет — он один — показать в капле воды океан, в песчинке пустыню Сахару, в одной фразе целый пейзаж дать. Но ведь и он

был постоянно занят природой, носил с собой книжечку, в которой записывал наблюдения над ней. И так чудесно у него ночью клочья тумана, как призраки гуляют. А вот о дворянах он напрасно брался писать. Не знал он ни дворян, ни дворянского быта. Никаких вишневых садов в России не существовало. И пьесы его все чепуха, чушь, как бы их не раздували. Никакой он не драматург.

Я не выдерживаю:

— А ведь мир восхищается именно его пьесами. Вот когда в Биаррице был американский университет, я в нем слушала лекции и была знакома с большинством профессоров. Один из них мне как-то сказал, что считает лучшими драматическими произведениями всего мира и всех времен "Бурю" Шекспира и "Вишневый сад" Чехова. И, видя, что я с ним не согласна, воскликнул: "Как? Вы не считаете "Бурю" величайшим произведением?" То, что я могу не считать "Вишневый сад" величайшим произведением, он даже и допустить не мог.

Бунин пожимает плечами.

— Ну и что из этого? Что это доказывает? Что ваш американский профессор болван и баран, как большинство профессоров американских и других. Напрасно трудились мне это сообщить — я и без вас знаю и знал.

И неожиданно спрашивает:

— А Тениссона вы, конечно, не любите?

Я киваю:

— Не люблю. Но когда-то в детстве любила, и даже очень.

— В моем переводе читали?

— Нет. В подлиннике. Тогда нравилось, а теперь нет.

Он хмурится и вдруг делает нелестный для меня вывод:

— Это доказывает — извольте ли видеть — что в детстве вы были умнее и больше понимали в поэзии, чем теперь. Только и всего:

Он встает и отвешивает мне насмешливый поклон.

— Честь имею кланяться. Вера Николаевна, должно быть, давно вернулась. — И уже в дверях:

— Скажите поклон Болгарину. Пойду прилягу — наговорился до упаду.

В "Русском доме" я успела, насколько возможно, изучить сложный, сотканный из противоречий характер Бунина. Пускаясь на "военные хитрости", я умела почти всегда удерживать его у себя, когда мне этого хотелось. Научилась я также вести с ним беседы, развлекающие его. Интересующие Бунина "спасительные темы" — за них я хватаюсь, когда мне хочется его развлечь: его детство и юность.. Путешествия. О любви. О природе. О его семье.

О его семье у меня смутное представление, основанное на отрывочных сведениях. Только в 58-м году, прочитав книгу Веры Николаевны Буниной, я составила себе более или менее верное понятие о семье Бунина. Странная это была семья. Даже очень странная. Впрочем, по рассказам Бунина, я уже поняла, что семья была не без странностей, но очаровательной. Особенно отец, казавшийся Ивану Алексеевичу воплощением барства.

— Вот, — не раз говорил он, — все думают, что "Жизнь Арсеньева" — моя биография. Какой вздор! Я все и всех — и себя в том числе изменил почти до неузнаваемости. Только мой отец, пожалуй, не подвергся ломке и переделке и остался в романе таким, каким был в жизни. А был он удивительный. Совсем по особому талантливый, физически талантливый. И здоровый. Умственно, духовно здоровый. Уравновешенный, веселый. Отчаянно легкомысленный. Добрый. У него было совсем особенное романтическое "певучее" сердце.

Этот отец, которым так восхищался Бунин, не только пустил своих детей по миру, прожил состояние жены, не дал младшим детям — ни Ивану Алексеевичу, ни сестре его Маше — никакого образования, но был алкоголиком, допившимся до белой горячки и стрелявшим в свою несчастную жену, от страха забравшуюся на дерево и спасающуюся только тем, что упала с дерева раньше, чем он успел в нее выстрелить.

О нем Иван Алексеевич всегда говорил с любовью и почти с восторгом, восхищался его талантливым, легким, веселым нравом. И ни разу при мне не осудил его. Отца он идеализировал и не мог говорить о нем без волнения. "Ах, какой это был чудесный, талантливый человек!" — часто повторял он.

Мать свою он обожал. Мать его действительно была своего рода святой. Мученицей. Но как мог он ни в чем не упрекнуть отца и даже с юмором описывать сцену — мать карабкается ловко, как белка, на дерево, а отец вроде охотника стреляет в нее.

Брата его Евгения, "крепостник в душе", крестьяне ненавидели и чуть не убили в 1905 году. Бунин с большим вкусом описывал спасение Жени собаками.

— Если бы умные псы не налетели на мужика и не стали бы срывать с него портки, ведь мужик уже за нож схватился и хотел всадить Жене нож в брюхо. А тут пустился наутек, и псы за ним. Он еле от них отбил. Вся деревня гоготала — бежит, разорванные штаны, как флаг, развеваются, и псы, скаля зубы и ворча, скачут за ним.

Об отце Бунин говорил:

— Редко можно себе представить более очаровательного человека. Барин, дворянин, аристократ с головы до ног, до конца ногтей на ногах. И какой талантливый, просто физически талантливый. Как он на гитаре играл и пел! Как о Севастополе рассказывал! Прелесть...

Даже о легкомыслии отца он отзывался с похвалой. Даже оно казалось ему достоинством, а не недостатком. И никогда ни одного упрека.

— Я, признаюсь, унаследовал от отца, — говорил он, — легкомыслие. Но к нему, к сожалению, примешалась меланхолия и грусть моей матери, отчего у меня такой сложный, трудный характер. Отец был солнечный, ясный, веселый, не то что я.

— Слава Богу, что вы не пошли в него, — хочется мне сказать. — Жалеть об этом нечего. — Но, конечно, я этого не говорю.

О своей сестре Маше он тоже охотно рассказывал и отвечал на мои вопросы о ней.

— Она была миловидной, мечтательной, нежной, грациозной девушкой. Нет, не красавицей, но очень привлекательной, стройной с лучистыми глазами. Шестнадцать лет, а кругом никого, кто бы мог влюбиться в нее, в кого она могла бы

влюбиться. Ведь это драма. Она часами расчесывала волосы перед зеркалом и смотрелась в него. Повязывала голову пестрым шарфом, надевала кружевные блузки, сквозь которые просвечивала ее молодая, высокая грудь. Она улыбалась мне, строила мне глазки и наивно кокетничала со мной — больше решительно ведь не с кем было. Я хвалил ее прически и бархотку на шее, это радовало ее. Она приходила в восторг, когда я приглашал ее пойти гулять со мной или просил ее спеть под гитару старинный романс. И так мило краснела от моих похвал и комплиментов! Мои стихи она выучивала наизусть, но, кроме них, ничего не читала. Меня она считала вторым Пушкиным — ничуть не хуже Пушкина. Впрочем, о существовании других поэтов у нее были самые смутные понятия. Я хотел познакомить ее с Лермонтовым и Тютчевым, но вскоре убедился, что это бесполезно. Кроме меня и Пушкина, для нее не существовало поэта. Я для нее был не только поэт, но чем-то вроде божества. Как это ни удивительно, но она, несмотря на свою необразованность, была прелестной романтической русской девушкой. Не только чувствовала мои стихи, но и совсем неглупо о них судила. У нее был врожденный вкус. До брака. Ведь она вышла замуж за простого стрелочника — какой позорный брак, — конечно. Потом на нее было грустно смотреть, хотя ее муж казался очень порядочным, честным человеком, — так она изменилась! А я, когда ей было шестнадцать лет, был даже слегка влюблен — как Гете, как Шатобриан, как Байрон, — в свою сестру, следуя романтической традиции, о которой я, впрочем, тогда еще и не слышал.

Впрочем, это было смутное неожиданное влечение. Возможно, если бы я не прочел биографий Гете и Шатобриана, мне бы и сейчас в голову не пришло, что любовь к Маше напоминала влюбленность. А прочитав, я даже стал гордиться общей чертой с великими писателями. И уже почти поверил, что и я "питал к сестре противоестественные чувства". Хотя на самом деле чувства мои были совершенно естественны — всего только окрашенная романтизмом братская нежность, похожая на влюбленность.

Еще один из моих разговоров с Буниным в ту же зиму в Жуан-ле-Пэн.

— А вы, Иван Алексеевич, рано начали писать стихи? — спрашиваю я. Ведь Бунин считает себя прежде всего поэтом, и мой неожиданный необоснованный интерес к его стихам ему, наверно, будет приятен. Я не ошибаюсь. Вопрос мой ему явно доставляет удовольствие. Он кивает.

— Очень. Даже слишком рано. С самого младенчества. Как только научился читать и писать. Чуть ли не первыми моими книгами были валявшиеся у нас на чердаке "Одиссея" и толстый том "Английские поэты". Я как-то сразу стал писать и прозой и стихами. Сочинять стихи — правда, очень плохо — стало для меня привычным делом. Печататься начал в шестнадцать лет. В "Родине". Стихотворение, которое я туда послал, выбрал мой брат Юлий. Мне оно нравилось меньше других. — О деревенском нищем. Но Юлий был революционер. "Сейте разумное, доброе, вечное", чтобы русский народ мог сказать вам, то есть мне, "спасибо сердечное". Иначе поэзия ни к чему. У меня уже тогда были совсем другие взгляды, и народного "спасибо" я не искал, но я послушался его. И хорошо сделал. Стихи мои действительно появились. Правда, с задержкой. Сколько я мучился, ожидая их появления. У меня дрожали руки, когда я разворачивал новый номер "Родины". Опять ничего. Прошло несколько месяцев, я уже отчаялся — не приняли. Надеяться больше не на что. И вдруг в мае они появились.. Когда я впервые увидел свое имя — "Ив. Бунин", — напечатанным, я почувствовал спазму в сердце и головокружение до тошноты. Зато потом я был невероятно счастлив и горд. Это был один из счастливейших дней моей молодости. С того дня и в моей семье никто не сомневался, что я поэт. А сам я уже был уверен, что добыюсь всероссийской славы.

— И не ошиблись, — говорю я. — Не только всероссийской, но и всемирной славы.

Он смотрит на меня прищурившись: "польсти, польсти! Хотя я и знаю, что вы неискренни, а все-таки приятно."

— Люблю лести. Даже самую грубую, неприкрытую, вот,

как ваша. Но тонкая лесть, конечно, еще приятнее. В лавке Суханова спрашиваю приказчика как-то, хороши ли вновь полученные консервы из налимьей печенки, а он отвечает почтительно: "Кто их знает, Иван Алексеевич. Не пробовал-с — "Темные аллеи". А вот чайную колбаску могу рекомендовать. Прелесть. "Митина любовь", да и только-с!" Вот как польстить мне сумел. А вы? Так я вам и поверил, что вы интересуетесь моими стихами.

Мне становится неловко. Ведь он прав, я совсем не интересуюсь его стихами. Мне просто хочется доставить ему удовольствие — у него сегодня опять такой несчастный вид. "У него несчастный вид". А не "он выглядит несчастным". Боже упаси, сказать при Буине "выглядит". Я даже думая о нем, заменяю привычное ненавистное ему "выглядит несчастным" не нравящимся мне "у него несчастный вид".

Я спрашиваю:

— После первого триумфа вы, наверно, много печатались в "Родине"?

Он качает головой:

— Представьте себе, нет. После моего первого ошеломившего меня появления в печати я больше, туда стихов не посылал, хотя и писал их с утра до вечера и с вечера до утра. Как князь Курбский — прочтет, улыбнется и снова прочтет. И снова без отдыха пишет. Просто не мог не писать.

Только через год я решился послать стихи, но уже не в "Родину", а в "Книжки недели", казавшиеся мне не хуже "Вестника Европы". И три мои стихотворения сразу появились в них. Впрочем, это уже не потрясло меня до боли. Такого пронзительного душераздирающего восторга я уже не испытал. Я был рад и горд, но принял это почти как должное. И скоро послал в "Книжки" еще стихи — уже без сумасводящего волнения. А в "Родине" тогда же появились мои первые рассказы. Очень, правда, слабые. Я понял, что стихами не прокормишься, проза прибыльнее. Стихи — слава. Проза — деньги. Деньги мне были до зареза необходимы. Мы впадали все в большую бедность. Я ведь был настоящим дворянским недорослем, ничего делать не умел, ни на какую службу посту-

пить не мог. Не в писцы же было идти? Вместо писца я стал писателем.

Он умолкает на минуту и вдруг будто с недоумением обращается ко мне:

— Но как, скажите мне, родители мои могли не думать о моем будущем? До чего они — особенно мой отец — были легкомысленны. Ведь если бы я не вытащил счастливый билет, меня попросту в солдаты забрили. Это меня-то — белоручку, барчука. Хорош бы я был. Представляете себе? Вот я все жалуясь на свою несчастную молодость — а ведь мне иногда дьявольски везло — не вытяни я тогда счастливое билета, забрили бы мне лоб — и никакого писателя Бунина, академика и "при Нобель" не было бы. Я бы не вынес казармы и муштровку. Ведь я здоровьем совсем не отличался. Легко простужался, часто хворал. Нет, мне в жизни иногда безумно везло. Вот и академиком в тридцать лет стал. Как мне вся писательская братия завидовала, как злилась. Особенно Куприн. В голос выл от обиды. Раз, когда мы с ним в ресторане сильно выпили, он весь затрясся, побледнел и вдруг свистящим шепотом сказал: "Уйди от меня. Ненавижу тебя. Уйди, а то задушу!" Встал из-за стола, коренастый, руки длинные и смотрит на меня с чисто звериной ненавистью. Не человек — медведь разъяренный. Действительно может задушить. Я поздравил лакея, расплатился и, не прощаясь с ним, молча вышел. Потом мы с ним при встречах отворачивались друг от друга. А через год приблизительно опять сошлись. Он забыл. И все пошло по-старому.

— Неужели он действительно мог вас задушить, Иван Алексеевич?

— А еще бы! Он настоящий зверь, особенно в хмелю. Через несколько лет он первой жене своей, рассердившись на нее, облил одеколоном платье и поджег. Еле затушили. Но я его все-таки любил. И он меня. Только простить мне не мог моего превосходства над ним. И что я академик. Злился даже, что я ему "покровительствовал" и помогал. Но в общем мы с ним до конца, до того как его "шкуру дохлого медведя" его вторая жена продавать в Москву повезла, мы с ним дружи-

ли. Виделись. Он бывал у меня, правда, редко. Ругался он виртуозно. Как-то пришел он ко мне. Ну, конечно, закусили, выпили. Вы же знаете, какая Вера Николаевна гостеприимная. Он за третьей рюмкой спрашивает: "Дамы-то у тебя приучены?" К ругательству, подразумевается. Отвечаю: "Приучены. Валяй!" Ну и пошел и пошел он валять. Соловьем заливается. Гениально ругался. Бесподобно. Талант и тут проявлялся. Самородок. Я ему даже позавидовал.

Воспоминания Бунина несравненно злее и ядовитее его рассказов. В его рассказах о тех же лицах, несмотря на сарказм и карикатуру, часто проскальзывала добродушная усмешка, симпатия, даже жалость к тем, над кем он издевался, показывая их в кривом, но волшебном зеркале.

О зависти Куприна и о его, пусть только временной ненависти к Бунину, я до этого рассказа Бунина никогда не слышала ни от него, ни от других. Рассказ о том, что Куприн облил свою жену одеколоном и поджег, я слышала и от Петра Пильского еще в Риге в 33-ем году.

В своих воспоминаниях Бунин говорит о Куприне чрезвычайно дружелюбно, как редко о ком, как почти ни о ком. Я сомневалась — надо ли этот его рассказ приводить, но решилась все же привести, он не лишен интереса для будущих литературоведов.

В воспоминаниях же нет ни волшебства, ни жалости. Они как будто написаны старческой желчью. Он читал, я помню, отрывки из них на своем вечере в Русской консерватории в 47-ом году. Мы с Георгием Ивановым, как и все присутствовавшие писатели, сидели на эстраде — в зале все места были заняты. Зал был переполнен. Но после антракта он оказался наполовину пустым. Слушатели, не в силах перенести издевательства над любимыми писателями и шутовское передразнивание их, стали уходить, не дожидаясь конца чтения. В тот вечер Бунин был особенно в ударе, в злом ударе. И наносил беспощадные удары всем, о ком читал, изображая их в лицах. Играл и даже переигрывал, исходя желчью и злобой.

— Как он отвратительно кривляется! — Неужели ему не стыдно всех поливать грязью? — слышалось в публике. — Как он может?

Бунин смотрит на меня с неподдельным удивлением. Я только что поделилась с ним моим огорчением — три дня бьюсь над концом стихотворения и чувствую себя совершенно бездарной.

— Вот так-так. Бездарной? — переспрашивает он. — А вы оказывается сомневаетесь в себе. Это хорошо. Очень хорошо. Сомневаться в себе, в своем таланте необходимо. Даже Толстой и тот... Но вот признаваться другим в этом, особенно братьям-соперникам, никак не следует, — поучает меня Бунин. — Помните — скромность ничуть не украшает писателя. Пусть уж лучше вас считают гордячкой и даже за спиной подсмеиваются над вами. Я сам многим кажусь гордецом, надутым, как индийский петух. И ничего против такого мнения не имею. Хотя на самом деле я часто, в особенности теперь, когда до смерти осталось четыре шага, сомневаюсь в себе. Вижу, что я почти ничего не сделал. Мог, должен был сделать гораздо больше. А теперь поздно. Теперь я бессилён. И как это грустно.

Он задумывается, глядя в огонь.

— Почему не сделал? Не знаю. Не могу объяснить. Но иногда мне кажется, что многое, что я писал, совсем не то. И не так.

Он снова замолкает и продолжает после паузы.

— Слава Богу, такие мучительные мысли нечасто приходят. Вот ночью, во время бессонницы. А утром вспоминаю, что я совсем недавно написал лучшее во всей моей жизни — "Темные аллеи" и чувствую гордость. И кто знает — может быть, я еще много лет проживу, окрепну, поздоровею и напишу еще новые "Темные аллеи" — ведь этой темы на десять томов хватит. Я в "Аллеях" ее не исчерпал, а только слегка коснулся, тронул ее. Надо пойти гораздо дальше по "Темным аллеям" в самую глубину их. Без страха и ложного стыда и фарисейства.

Он вдруг обрывает, будто вспомнив обо мне, и продолжает меня учить:

— Нет, никогда никому не говорите, что вы чувствуете себя бесталанной, а то так бесталанной и прослывете. Все с удовольствием вам поверят. И даже пожалеют вас. Бедненькая!!

А как пожалеют — крышка. Надо вызывать зависть, а не жалость. Запомните! Волки загрызают раненного или больного волка. А в нашем волчьем мире приканчивают друг друга жалостью. И презрением. Никогда не признавайтесь в сомнении в своем таланте, — повторяет он наставительно. — Храните это необходимое сомнение в себе на самом дне сознания. Для себя. Это не только драгоценный совет, а и подарок мой вам.

И вдруг, неизвестно отчего, неизвестно на что раздражившись, он продолжает желчно и саркастично:

— Скромность? Подумаешь тоже — добродетель? Достоинство для писателя? Да я не верю, что существуют просто скромные писатели. Притворство одно! Вот Чехов был деликатным, скромным, как красная девушка, — это мнение Толстого. А на самом деле он на всех свысока смотрел, с братом своим, художником, и с его приятелями разговаривать не желал. Презирал их всех. Кроме разве Левитана. Левитан, хоть и еврей, а шибко в гору шел. Впрочем, и с ним у Чехова дружбы не получилось — описал он его в "Попрыгунье". Об остальных писателях и говорить не стоит — все считали и считают себя гениями. Всех грызет зависть, все волки. Только прикидываются овечками. Всех распирает сомнение.

На масленицу, как полагается в "Русском доме", были традиционные блины. Устраивались они вскладчину. За пансион в "Русском доме" брали чрезвычайно мало, но зато и кормили впроголодь — без всяких излишеств. Блины, да еще с кетовой икрой, семгой и водкой в те первые послевоенные годы легко подводились под категорию "излишеств". Бунин ни на какие просьбы и уговоры участвовать в коллективных блинах не поддался и не удостоил своим присутствием масленичный обед.

Все же "блинное повторение", устраиваемое в нашей комнате несколькими "насельниками" "Русского дома", он обещал посетить.

— Но предупреждаю, испорчу вам все. У меня настроение собачье. И есть ничего не стану. И одеваться из-за ваших ду-

рацких блинов не намерен, приду в халате. Но раз вы настаиваете — приду. А там уж пеняйте на себя.

В назначенный день он действительно пришел. Даже раньше назначенного часа, когда хорошенькая Гэдди, подвязав передник, жарила блины на маленькой спиртовке. Он скептически оглядел накрытый белыми листами бумаги вместо скатерти "погребальный" стол и заявил:

— Думаете удадутся у вас блины? Как бы не так. Бросьте, Гэдди, ничего у вас не получится. Бросьте. Так черт яйцо на печке пек. Но Гэдди, мило улыбаясь ему, продолжала весело хозяйничать, не обращая внимания на его воркотню.

К Гэдди Бунин был слегка равнодушен, как, впрочем, ко многим молодым, хорошеньким женщинам. Вера Николаевна не только не ревновала, но даже поощряла его "увлечения". "Пусть, ведь это хоть немного развлечет его. Яну необходимо общество молодых женщин, которые ему нравятся". В верность Бунина она верила свято и нерушимо. "Ян даже в мыслях мне ни разу не изменил, хотя Бог знает, что про него злые языки рассказывают", — часто повторяла она.

К Гэдди она относилась очень хорошо и даже приглашала ее поселиться у них, если Гэдди приедет в Париж.

— У нее такой легкий, веселый, ровный характер. И она так женственна! Это как раз то, что больше всего нравится Яну. И она очень хозяйственна, не то что я, — объясняла она.

Сама Вера Николаевна — она это прекрасно сознавала — была начисто лишена хозяйственных способностей и не умела, да и не стремилась создать у себя дома хоть какое-нибудь подобие уюта. Даже после получения Нобелевской премии, когда средств было достаточно, они остались жить в довольно жалкой меблированной квартире, занимаемой ими и прежде на Рю Оффенбах, превратив ее только из "меблированной" в квартиру по контракту, не сменив мебели и ничем решительно не украсив ее.

Бунин, усевшись в кресло у стола и мешая мне расставлять закуски и рюмки, хмуро следил за нашими с Гэдди и Георгием Ивановым хлопотами.

— Охота вам! Подумаешь, был кот с печки упал! Бросьте!

Но нам "была охота", и мы продолжали хлопотать.

Блины, несмотря на предсказания Бунина, вполне удались. Гости ели и хвалили.

Бунин, сидя в кресле на главном месте перед пустой тарелкой, с брезгливым удивлением наблюдал за тем, как быстро уменьшается стопка блинов и вдруг, подняв вилку, потянулся к ней, ткнул вилкой в блин и положил его на свою тарелку.

— Э, да так мне не останется ни блина, ни икры, ни водки!

— Подождите, Иван Алексеевич, я вам сейчас свежий спеку, эти уже остыли — заволновалась Гэдди.

— Свежие второй порцией. И этот отличный. — Бунин, забыв о своем твердом намерении ничего не есть, уже поливает блин маслом, накладывает на него икру и сметану и прикрывает вторым блином.

— А ну-ка, налейте!

Я наливаю ему рюмку водки, и он с явным удовольствием принимается за "блинопоглощение".

И неожиданно — для других, а не для меня — ведь я нисколько не сомневалась, что этим и кончится, — он превращается в приятнейшего гостя, радующего меня — хозяйку хлебосольную — отличным аппетитом, очаровывающим всех слушателей несмолкаемыми рассказами.

Он вспомнил масленичную "Вербу", разыграл несколько сенок из нее, изображая всех — и зрителей-зевак и знатных господ, глазеющих на народное гулянье, и зазывателей балаганов, и продавцов. Все так магически живо, будто мы все сидящие за столом вдруг очутились на вербе, и это нам предлагают увидеть "Александровскую колонну в натуральности своей" и купить умирающую тещу или чертика в коробочке.

Так неудачно начавшиеся по вине Бунина блины, превратились благодаря Бунину же в одно из самых приятных воспоминаний пансионеров "Русского дома". "Блины с Буниным" остались у них надолго в памяти.

В прошлом году в Нью-Йорке на моем вечере, когда я в перерыве надписывала свои "На берегах Невы", ко мне подошла пожилая дама и сказала мне:

— А ведь мы с вами знакомы. Мы вместе жили в Жуан-ле-Пэн в "Русском доме". Помните? Ах, как там чудесно было! Помните блины с Буниным?

Из всего "чудесного", пережитого ею в Жуан-ле-Пэн, самым чудесным для нее явно остались эти "блины с Буниным".

То, что Бунин был особенный человек, чувствовали многие, почти все.

Мы с ним однажды зашли купить пирожные в кондитерскую Коклена на углу Пасси, где я бывала довольно часто.

В следующее мое посещение меня спросила, смущаясь, кассирша:

— Простите, пожалуйста, но мне очень хочется узнать, кто этот господин, приходивший с вами позавчера?

Я не без гордости ответила:

— Знаменитый русский писатель. — Но ответ мой не произвел должного впечатления.

— Писатель, — разочарованно повторила она. — А я думала какой-нибудь гран-дюк. Он такой... такой, — и она, не найдя подходящего определения, характеризующего Бунина, принялась отсчитывать мне сдачу.

Мне часто приходилось замечать, что Бунин притягивал к себе взгляды прохожих на улице.

Однажды, говоря о Буине с Алдановым, очень любившим его и всегда восхищавшимся им, я спросила его, замечал ли он это. Алданов закивал, радостно глядя на меня своими большими прелестными глазами, глазами лани, совсем не подходящими к его слегка обрюзгшему лицу:

— Ну еще бы, еще бы не раз замечал. Иван Алексеевич, даже когда молчит, всегда попадает в центр, в фокус внимания присутствующих. Разве вы сами не чувствуете магнитических волн, идущих от него? Он обладает какой-то особенной гипнотической силой, — убежденно объяснял Алданов. — Он очаровывает собеседников и заставляет их соглашаться с собой. Этот редко встречающийся дар, был присущ и Наполеону. У Наполеона он переходил даже, как вы изволите знать, в своего рода демонизм. Ведь Наполеон мог, когда хотел...

Я осторожно вернула Алданова, уже готового пуститься в историческую экскурсию о Наполеоне, к интересующей меня теме о Буине.

— А вы, Марк Александрович, на себе испытывали обаяние Бунина? — Мой наивный вопрос даже удивил его.

— Ну конечно. Еще бы. Как же иначе? Для меня, когда Бунин в Париже (разговор наш происходил в 30-ом году, когда Бунин большую часть года проводил в Грассе) наступают, похожие на праздник — "бунинские дни". Да, я их так и называю — "бунинские дни". Присутствие Бунина все как-то меняет и скрашивает. И жить, и дышать становится как-то легче, оттого что он здесь. После каждой встречи, каждого разговора с ним я чувствую себя бодрее, лучше. Будто побывал у моря или в горах. Отдохнул. Помолодел душой. Никто на меня так благотворно не действует, как Иван Алексеевич. У него действительно какая-то магическая власть над душами, умами и сердцами.

Я кивнула, соглашаясь, хотя на себе не испытывала магической власти Бунина.

— Вы правы, Марк Александрович.

Ведь Алданов не только от присутствия Бунина, но просто даже говоря о нем на моих глазах оживился и помолодел. А за минуту до этого он казался таким усталым и грустным.

Да, я в тот день действительно убедилась в магической власти и очаровании Бунина.

КНИГА ИРИНЫ ОДОЕВЦЕВОЙ
"НА БЕРЕГАХ СЕНЫ"
ВЫХОДИТ В ПАРИЖСКОМ
ИЗДАТЕЛЬСТВЕ "LA PRESSE LIBRE"

217 Rue du Faubourg St Honore Paris 75008
France

БИБЛИОТЕКА БЕСТСЕЛЛЕРОВ "ВРЕМЯ И МЫ"

**Александр Орлов
ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ СТАЛИНСКИХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

Эта книга принадлежит одному из видных деятелей сталинского НКВД, но почти 30 лет она была неизвестна русскому читателю. Чудом уцелев, генерал Александр Орлов бежал в 1938 году в Соединенные Штаты и, оставаясь 15 лет неузнанным, прожил здесь до конца своих дней. Книга Орлова — это документальное свидетельство эпохи, раскрывающее самые глубокие тайны сталинской секретной полиции.

...КАК ГОТОВИЛОСЬ УБИЙСТВО КИРОВА...

...ВСТРЕЧА СТАЛИНА С НИКОЛАЕВЫМ...

...КАК БЫЛИ ВЫРВАНЫ ПРИЗНАНИЯ У ЗИНОВЬЕВА И КАМЕНЕВА...

...ИХ СДЕЛКА СО СТАЛИНЫМ В КРЕМЛЕ...

...ДОПРОСЫ И ПРИЗНАНИЯ ПЯТАКОВА, БУХАРИНА, РАДЕКА...

...ПОДРОБНОСТИ ГИБЕЛИ АЛЛИЛУЕВОЙ...

...ЯГОДА ПЕРЕД КАЗНЬЮ...

...ЕЖОВ, КАКИМ ОН БЫЛ...

...ЛИЧНЫЙ СЕКРЕТАРЬ СТАЛИНА ПАУКЕР ОБ УТЕХАХ ВОЖДЯ...

Таковы лишь штрихи, лишь отдельные эпизоды документальной эпопеи Александра Орлова.

По свидетельству специалистов, ни одна из изданных до сих пор книг о советской тайной полиции не может сравниться с книгой Александра Орлова как по документальной точности излагаемых фактов, так и по захватывающему интересу, который она вызывает у читателей. Тот, кто открыл первую страницу этой книги, уже не сможет закрыть ее, не дочитав до конца этот зловещий детектив сталинской инквизиции.

Книга Орлова (350 стр.) иллюстрирована редкими фотографиями 30-х годов. Цена книги - 75 долларов. Пересылка — 1 доллар.

Заказы и чеки высылать по адресу:

Time and We
475 Fifth ave, room 511—A
New York, New York 10017



Владислав ХОДАСЕВИЧ

ПАРИЖСКИЙ АЛЬБОМ

ВСТРЕЧА С МАЙКОВЫМ

Если пристально вспоминать, то едва ли не с любым днем в году окажется связано какое-нибудь событие. Непременно сыщется что-нибудь, что хоть очень давно, хоть и в раннем детстве, а связалось в памяти с этим днем — навсегда. Так что мы чуть ли не каждый день можем праздновать какую-нибудь годовщину.

Вот и у меня на днях такая маленькая годовщина.

Лет шести пристрастился я писать стихи. Первые, помнится, были о сестре Жене — объяснение в чрезвычайной любви. Потом — о разбойнике, что в лесной чаще пробирался к мирному домику с ужасными целями, но — "глаз он выколол о сук"... Потом подарили мне пачку разноцветных "карнэ де баль", оставшихся от какого-то бала. К каждой книжечке был привязан тоненький карандаш, отточенный, как булавка. Все это было глянцево, и от всего пахло пудрой. На этих карнэ де баль написал я пропасть необычайно сердцепципательных произведений. Подражал тогдашним романсам: "Очи черные"

Публикуемые материалы из книги воспоминаний В.Ходасевича "Колеблемый треножник" любезно предоставлены издательством "Серебряный век". В ближайшее время книга выходит в свет.

"Как прощались, расставались" и проч. Это был целый поток любовной лирики. Она была обращена к воображаемой особе, с самыми золотыми волосами и самыми голубыми глазами на свете. Особа была окончательно несчастна и погибала от любви на каждом карнэ де баль. Я тоже.

Мы жили в Москве. Весной 1896 года выдержал я вступительные экзамены в гимназию, надел фуражку с кокардой, из ворот Толмачевского дома на Тверской видел торжественный въезд Николая II, полюбовался иллюминацией Кремля, надышался запахом плошек, — а в конце мая поехал на дачу в Озерки, под Петербургом. Пейзажи Озерков, с горой, проросшей сосновой рощей, с песчаным, белесоватым скатом к озеру, с гуляющей публикой, с разноцветными дачами, — смесь пошлого и сурового — запомнился навсегда. Как фантастично и как правдиво он передан через десять лет Блоком — в "Незнакомке" и в "Вольных мыслях!"

В июле отправили меня гостить к дяде, на Сиверскую. Сопоставляя с некоторыми семейными событиями, вижу, что это было между 15 и 25 по старому стилю, то есть между 3 и 13 по новому. Значит — как раз тридцать лет тому назад.

Я у дяди скучал и томился. Дом был натянутый и сухой. Общества подходящего, — никакого. Нужно чинно гулять по дорожкам и посиживать на скамеечках.

Мимо дач, по самому краю обрыва (под ним — река с холстяной купальней) бежала одна такая дорожка.

Однажды увидел я: из соседней дачи вышли какие-то люди; выкатили огромное кресло на колесах, а в кресле — важный, седой старик, в золотых очках, с длинной белой бородой. Ноги покрыты пледом.

— Знаешь, кто это?

— Ну?

— Это Майков.

Майков!.. Я был потрясен.

Кажется, что моим любимым поэтом в ту пору был Александр Круглов, автор, ныне забытый. Проза его слабовата. Но стихи, стихи для детей, у него есть прекрасные: очень какие-то светлые, главное же — не слащавые, без пошлого подлажи-

вания "под детское понимание" и без нравоучений. В стихах Круглова — какое-то ровное и чистое дыхание. Странно, что, кроме Брюсова, я не встречал людей, знающих поэзию Круглова. Брюсов ее, несомненно, оценил: в его стихотворениях "Терем" и "Эпизод" есть явственный отголосок двух пьес Круглова.

Вторым любимцем моим (или вровень с Кругловым) был Майков. Я знал много его стихов наизусть и — дело прошлое! — воровал из них без зазрения совести. В стихотворение "Верба", вслед за описанием шаров, морских жителей и гарцующих жандармов, была мною красиво вставлена и такая строфа:

**Весна! Выставляется первая рама —
И в комнату шум ворвался,
И благовест ближнего храма,
И говор народа, и стук колеса.**

Должен еще покаяться, что, будучи уличен в плагиате, предерзко отрицал это обстоятельство и чуть не до слез божился, что стихи мои собственные, а если такие же есть у Майкова, значит — совпадение.

Но это было раньше. Теперь же, увидев Майкова, я был взволнован. Писатель, поэт... Я читал очень много, но живого поэта никогда не видал и даже в реальном существовании подобных существ был в глубине души не уверен. И вдруг — вот он, живой, настоящий поэт! Да кто еще? Майков!

Я стал похаживать вокруг заветной дачи — и мне повезло. Однажды Майкова выкатили в кресле на дорожку к обрыву и здесь оставили одного. Будь с ним люди, я бы никак не решился. Но Майков был один, неподвижен — уйти ему от меня было невозможно... Я подошел и — отрекомендовался, шаркнул ногой, — все как следует, а сказать-то и нечего, все куда-то вон вылетело. Только пробормотал:

— Я вас знаю.

И заоченел от благоговения перед поэтом — и просто от страха перед чужим стариком.

Прекрасно было, что Майков не улыбнулся. В лице у него не мелькнуло ни тени желанья меня ободрить, ни тени снис-

хождения. Очень серьезно и сухо он что-то спросил. Я ответил. Так минут с десять мы говорили. О чем — не помню, конечно. Остался лишь в памяти его тон — тон благосклонной строгости. Скажу и себе в похвалу, что, начав так развязно и глупо, я все же имел довольно такта, чтоб не признаться ему в любви. Сказал только, что знаю много его стихов.

— Что же, например?

— "Ласточки"...

Тут я снова не выдержал и тотчас угостил Майкова его же стихами. "Продекламировал" "с чувством", со слезой, как заправский любитель драматического искусства. Дома мои декламаторские способности — увы! — ценились высоко... Признаться, при последнем стихе: "О, если бы и крылья и мне!" — я зачем-то каждый раз изо всех сил хлопал себя обеими руками по голове. На этот раз я невольно удержался от этого сильного жеста, но все же мне показалось, что после моего чтения Майков сделался менее разговорчив. Теперь-то я очень себе представляю, почему это случилось... Но тогда моя радость и гордость не омрачились ничем. Вскоре за Майковым пришли, его увезли. Он сказал мне "прощай" — и я больше его никогда не видел. Встреча эта меня глубоко взволновала, и я долго о ней никому не рассказывал. Это было торжественное и важное: первое знакомство с поэтом. Потом — скольких еще я знал, и в том числе более замечательных, но, признаюсь, того чувства, как тридцать лет назад — уже не было.

ДЕЛО ЕГО ЖИВЕТ

Начало 1920 года, герценовские торжества. Парадный спектакль в Большом театре. Лучше сказать — смесь спектакля с заседанием. Билеты, как водится, "распределены по организациям": — всучаются, кому не надо, — и недоступны для тех, кто хотел бы попасть в театр.

Звонок по телефону. От имени Всероссийского Союза писателей просят пойти. Сообщают номер ложи. Подхожу к театру. Толпа безбилетных ломится в двери: это — остатки интел-

лигенции, учащиеся. Входы охраняются часовыми с винтовками. Кое-как пробиваюсь в театр, но в ложу меня не пускают. "Давайте билет". А билет — у Эфроса, один на всех. Надо ждать, пока соберутся "наши". Ждать посылают в комнату коменданта.

У коменданта — неразбериха и толчея. У него требуют билетов, но сам он — душою не здесь. Он звонит по телефону.

— Пожалуйста, М.Ч.К. Попросите товарища такого-то. — Товарищ такой-то? — Да, я. — Значит, в одиннадцать? Ладно, приеду. А Катя придет? — Так. Сколько достали? — Две? На пятерых-то не маловато? Ну, ладно, я тоже принесу. — Да уж будьте покойны: хороший, эстонский. — Пришлите за мной машину к одиннадцати. Пока!

Речь явно идет о спирте. "Эстонский", то есть доставленный "дипломатическими курьерами" из Эстонии, особенно славился в ту пору.

В комендантскую вваливается красноармеец:

— Товарищ комендант, пожалуйста тыщу рублей ломовому.

— Что привез?

— Нежданову.

Нежданова будет петь в отрывке из "Эрнани".

Наконец, мы в ложе бельэтажа: Гершензон, два Эфроса, Лидин, Жилкин, я. Оркестр под управлением Кусевицкого играет Интернационал. На сцене — Каменев, Луначарский и другое начальство. Произносятся бесконечные речи, читаются декреты, указы. Соловьем растекается Луначарский. Потом, очень долго, расхаживая по сцене, говорит по-французски Садуль. Его плохо слышно. Остается смотреть, как он то и дело останавливается, сгибается в три погибели и, не прерывая речи, закручивает размотавшиеся обмотки. Но это плохо ему удается, и предательские кальсоны все время выбиваются наружу. Среди гигантских декораций, на ярком свете, все это очень не импозантно. В зале хихикают.

Впрочем, театр почти пуст. Толпу желающих не пустили. Билеты, распределенные на заводах и в канцеляриях, — не ис-

пользованы. Лишь кое-где в партере мелькают ситцевые платки да красноармейские шапки. Все в шубах. Светло, холодно и нестерпимо скучно.

В тот вечер мне показали Дзержинского. Наша ложа была ближайшая к царской. Дзержинский сидел в царской, совсем близко от меня. Больше я его никогда не видел.

У Дзержинского было сухое, серое лицо. Острый нос, острая бородка, острая верхняя губа, выдающаяся вперед, как часто бывает у поляков. Выглядывая из потертого мехового воротника, Дзержинский мне показался не волком, а эдаким рваным волчком, вечно голодным и вечно злым. Такие бросаются на добычу первыми, но им мало перепадает. Вскоре они отбегают в сторону, искусанные товарищами и голодные пуще прежнего.

О личной жизни Дзержинского не ходило рассказов. Кажется, ее и не было. Он был "вечный труженик". Пока верхи — Каменевы, Луначарские — потягивали коньячок, а низы — мелкие чекисты, комиссары, коменданты — глушили эстонский спирт, Дзержинский не уставал "работать". Не будем отягощать памяти о нем — несовершенно совершенными преступлениями. Достаточно совершенных. По-видимому, Дзержинский не воровал, не пьянствовал, не нагревал рук на казенных поставках, не насиловал артисток подведомственных театров. Судя по всему, он лично был бескорыстен. В большевицком бунте он исполнял роль "неподкупного". Однажды затвердив Маркса, и уверовав в Ленина, он, как машина, как человеческая мясорубка, действовал, уже не рассуждая. Он никогда не был "вождем" или "идеологом", а лишь последовательным учеником и добросовестным исполнителем. Его однажды пустили в ход — и он сделал все, что было в его силах. А силы были нечеловеческие: машинные. Сказать, что у него "золотое сердце" было хуже, чем подло: глупо. Потому что не только "золотого", но и самого лютого сердца у него не было. Была шестерня. И она работала, покуда не стерлась: 20 июля, в 4 часа 40 минут.

Разумеется, были перебои и в этой машине. Тут действовал атавизм: ведь шестерня все-таки происходила от челове-

ческого сердца. Дзержинский был сделан Лениным из человека, как доктор Моро делал людей из зверей... Покойного Виленкина Дзержинский допрашивал сам. Уж не знаю, что было при этом, только впоследствии машина стала давать перебои. Рассказывая одному писателю о допросе Виленкина, Дзержинский, по-видимому, галлюцинировал, говорил двумя голосами, за себя и за Виленкина. Писатель передавал мне, что это было очень страшно и похоже на то, как в Художественном театре изображается разговор Ивана Карамазова с чертом.

В период болезни Ленина, а затем после его смерти, многим большевикам пришлось действовать не машинально, не "по наряду", а по собственному разумению. В довершение беды нэп потребовал действий не по разрушению и пресечению, а по созиданию и налаживанию да еще в направлении, непредусмотренном. В число таких "строителей поневоле" попал и Дзержинский. Но ни в наркомпути, ни особенно в совнархозе он ничего не сделал. Поставить их на такую "высоту", как Ч.К., было ему не по силам. Единственное, что он мог, — это нагнать страху на подчиненных. Действовало его ужасное имя. В одной из своих "хозяйственных" речей он недавно сказал:

— Меня боятся, но...

Дальше шло много разных "но", которые все свидетельствовали о его бессилии. Убивать легко, творить трудно.

Это знают большевики и, конечно, раздастся теперь очередной лозунг:

"Дзержинский умер, но дело его живет".

Основное дело, заплечное мастерство, в котором силен каждый коммунист и к которому каждый имеет касательство.

Уж на что мягкий был человек Воровский, порой почти обаятельный (я его знавал). Уж какая мирная, торговая и дипломатическая специальность у "европейца" Х.! А вот — рассказ того же писателя.

Однажды этот писатель застал где-то компанию: Воровский, Х. и неизвестный поляк-инженер. Инженер с пылом говорит о каких-то широких планах, вроде электрификации. Все в вос-

торге, наперебой расхваливают инженера и чуть ли не обнимают. А когда он уходит, большевики говорят писателю, кивая на дверь:

Последние часы бедняга догуливает. Сегодня его арестуют — и к стенке...

— Как? Почему?

— Польский шпион. Он еще не знает, что нам все известно.

— Почему же его просто не арестуют?

— А потому, что надо еще от него добыть кое-какие сведения. Не уйдет.

Так — Боровский и Х. работали на Дзержинского в должности обыкновенных провокаторов...

Дзержинский умер, но дело его живет.

ВИКТОР ГОФМАН

К двадцатипятилетию со дня смерти

В тесном кафе на бульваре Сен-Мишель гремят ложки и блюдца, мечется гарсон, на пыльных диванах примостились парочки. Рыжеватая женщина перекинула ногу в розовом чулке через колено щуплого молодого человека. Не обращая внимания, он продолжает с приятелем партию в трик-трак. Две серокрылые вечерние бабочки выются у электрической лампы.

"Хожу в здешнюю публичную библиотеку... Как странно потом попасть на наш бульвар, где живу я и где маленькие люди веселятся и любят". Это писал двадцать пять лет тому назад поэт Виктор Гофман об этом самом бульваре. В этом доме № 43 он жил и умер. Бывал, вероятно, и в этом кафе.

Гофмана я знал очень юным. Мы учились в одной гимназии. Когда познакомились, ему было 17, мне — 15. Он был в седьмом классе, а я в шестом. Сблизили нас стихи.

Вот он сидит на краю парты. Откинута назад голова втянута в плечи. Резко очерчено острое колено. У Гофмана худощавые руки и словно девическая ступня с высоким подъемом, плавно изогнутая. Весь он легкий. *Курчавые тонкие*

волосы, прищуренные глаза с длинными ресницами и всегда немного дрожащее пенсне в роговой оправе. Тихим голосом, слегка в нос, он читает стихи. Читает уже нараспев, как все новые поэты.

1902-1903 годы. Я смотрю на Гофмана снизу вверх. Мало того, что он старше меня и его стихи много лучше. Он уже печатается в журналах, знаком с Бальмонтом, бывает у Брюсова. Брюсов взял у него три стихотворения для "Северных цветов". В "Гриффе" тоже стихи Гофмана. О таких вещах я еще даже не мечтаю...

Гофман был в обращении мягок, слегка капризен. Было в нем много женственного. Он вырос с девочками, играя в куклы. О кукле же написал двенадцати лет свои первые стихи: "Больное дитя". Отпечаток этого детства сохранился на нем до конца.

Злой рок столкнул его с Брюсовым. Очень впечатлительный и доверчивый по природе, семнадцатилетний Гофман тотчас подпал под влияние неистового и безжалостного учителя, от которого перенял его несложную, но едкую философию "мигов".

Это слово, так часто встречающееся в поэзии Брюсова, надобно пояснить. По Брюсову жизнь состояла из "мигов", то есть из непрерывного калейдоскопа событий. Дело поэта — "брать" эти миги и "губить" их, то есть переживать с предельной остротой, чтобы затем, исчерпав их лирический заряд, переходить к следующим. Чем больше мигов пережитого и чем острее — тем лучше.

Эти переживания (самое слово в ту именно пору сложилось и получило право гражданства) не подлежали никакой критике моральной или философской, или религиозной. Все они считались равноценными. Все дело сводилось к тому, чтобы накопить их как можно больше — все равно каких. Нетрудно понять, что такое накопление, несколько не обогащая духовно, выматывало нервы. Жизнь превращалась в непрерывное самоодурманивание, в непрекращающуюся лирическую авантюру. В сущности это и было если не сердцевинною декадентства, то главную его составную частью.

Хуже всего было то, что постоянное возбуждение станови-

лось привычкою и потребностью. От него развивалось нечто вроде вечного эмоционального голода, который от переживаемых "мигов" не только не получал утоления, но разжигался пуще. Этого мало. По избранному пути рекомендовалось идти "до конца", не щадя себя. И шли, смутно сознавая, что идут к гибели. Сильные и менее правдивые выдерживали — к числу их принадлежал сам Брюсов. Слабые и самые "верные" погибали. Гофман был только одною из таких жертв. Ему все мерещился какой-то особенно хороший миг — такой, которым была бы искуплена и оправдана вся изнурительная его жизнь. Этот воображаемый, так никогда и не наступивший миг называл он счастьем и тосковал по нем:

**Хочется счастья, как же без счастья?
Надо же счастья хоть раз!**

Перед Брюсовым Гофман благоговел, как мы все когда-то благоговели. Брюсов, несмотря на то что был на одиннадцать лет старше, дарил его дружбой, которая, разумеется, была для Гофмана драгоценна. Дома их стояли почти рядом на Цветном бульваре, против цирка Саламонского. Брюсов, признанный мэтр и вождь, нередко заходил к Гофману, держался с ним на равной ноге, писал ему дружеские стихотворные послания, в которых (честь величайшая по тому времени!) ставил его в один ряд с собой и с Бальмонтом. Наконец, как я уже говорил, Брюсов печатал стихи Гофмана в альманахе "Скорпион".

И вдруг все разом оборвалось. Гофман провинился. Вина была маленькая, ребяческая. Гофман имел неосторожность перед кем-то прихвастнуть, будто пользуется благосклонностью одной особы, за которой ухаживал (или, кажется, даже еще только собирался ухаживать) сам Брюсов. Имел Гофман основания хвастаться или нет — все равно. Делать это, конечно, не следовало. Но что поднялось! Наказание оказалось во много раз сильнее вины. На девятнадцатилетнего мальчика обрушились все громы и молнии власть имущих — с Брюсовым во главе. Брюсов отдал приказ изгнать Гофмана из всех модернистских журналов и издательств. Двери "Грифа" и "Скорпиона" отныне для Гофмана были закрыты. На

ту беду вскоре вышла первая книга его стихов — "Книга Вступлений", с которою было связано столько боли, страха надежд и юношеских мечтаний. Брюсов о ней написал в "Весах" уничтожающую рецензию: разнес то самое, что громко хвалил накануне.

Между тем, как раз в это время умер отец Гофмана, дела семьи пошатнулись, и студенту Гофману пришлось обратиться к литературе как к источнику заработка. Но модернистские издания для его стихов и литературных статей были закрыты, а в прочих на него смотрели как на декадента. Следовательно, стучаться туда было бесполезно: литературные лагеря тогда были резко разделены. Гофману ничего не оставалось, как приняться за газетную работу. В газетах он стал помещать статьи на темы публицистические, отвечавшие моменту (дело было в 1905-1906 гг.). Он писал о "Всеобщем голосовании с точки зрения философии", о "Двухстепенных выборах" и т.д. Работа давалась ему с трудом и не интересовала его самого. Однако он кое-как перебивался.

С тех пор как стряслась с ним беда, прошло уже почти два года. Пора было его простить, но Брюсов был крайне злопамятен. Однажды прослышал он, что Гофман, провожая ночью на извозчике одну барышню, Елену Ивановну Б., вздумал ее поцеловать, но потерпел поражение. Брюсов немедленно написал и разослал знакомым следующие стихи:

ЕЛЕНЕ

**О, нет, не думай ты, что было мне обидно,
Когда с извозчика меня столкнула ты.
Нисколько! Я стоял с улыбкой серповидной
И плечи, как жандарм, подняв средь темноты.**

**В объятиях моих для женщин много чести.
Хотя капризен я, оне идут ко мне.
Но ты, о, гордая, мне приказала: "слезьте"...
Ну, что же, и в мечтах утешусь я вполне.**

**Ведь я — дитя мечты, я — младший альбатросик.*
Принять желанья за истину сумев,**

* Намек на подражания Гофмана Бальмонту и через него Бодлеру. (Примеч. В.Ходасевича).

**Я лаю на слонов среди отважных мосек
И славлю свой успех у женщин и у дев.**

**Ответные слова пусть очень были жестки.
Но ведь известно всем, что я всегда поэт —
И буду я твердить на каждом перекрестке,
Что от любви твоей мне и проходу нет.**

**Итак, не думай ты, что было мне обидно,
Когда с извозчика меня столкнула ты.
Нисколько! Я стоял с улыбкой серповидной
И плечи, как жандарм, подняв средь темноты.**

Наконец, кончив университет, Гофман решил перебраться в Петербург, Там он прожил два года, издал вторую (и последнюю) свою книгу стихов — "Искус", писал в газетах: в "Речи" и в "Слове". Потом, ради заработка, принимал участие в редактировании "Нового журнала для всех". Но и работа была не та, к которой влекло Гофмана, и круг сотрудников "Нового журнала для всех" был не высокого, в общем, качества, и — главное — не мог Гофман расстаться со своими лирическими авантюрами. Постепенно у него стала разыгрываться неврастения — неизбежное следствие "мигов".

Уже лет через пять после смерти Гофмана, во время войны, издатель Пашуканис выпустил двухтомное собрание сочинений Гофмана. Брюсов не постеснялся написать для этого издания вступительную статью, а мне была поручена биография. Во время этой работы у меня в руках была большая пачка писем Гофмана к сестре и к одной поэтессе. Они дают, что называется, яркую клиническую картину неврастения, с характерными сменами настроения, с постоянными обещаниями "преобразовать свою жизнь", с описаниями странных и сумасбродных поступков, с боязнью одиночества, с рассказами о бессонных ночах. Стихи он совсем перестал писать. Пытался работать над прозой — она в таких обстоятельствах не могла быть удачна. Проза Гофмана очень слаба, несравненно слабее его стихов, в которых, несмотря на многие недостатки, была какая-то особая, гофмановская прелесть — знак недоразвитого, но подлинного дарования.

Несколько раз он пытался куда-нибудь уезжать, надеясь вернуться обновленным. Весной 1910 года он приезжал в Мос-

кву — тогда я и видел его в последний раз. Он имел вид измученный. Потом он жил в Павловске на даче, но и там мучился. Зима 1910-1911 гг. далась ему очень трудно. Письма той поры — сплошной стон. Весной 1911 г. он решил ехать за границу: все искал "перемены впечатлений", то есть новых, еще неизведанных раздражений, которые как раз были для него ядом.

Ему нужен был санаторий — он поехал в Париж. В то лето в Париже было много русских писателей: Алексей Толстой, Георгий Чулков, Минский, Ахматова, Тугендхольд и другие. Гофман сперва избегал встреч и много работал, но потом, напротив, стал искать людей и работу забросил. 14 июля он танцевал на улице, возле "Ротонды", с одной нашей общей знакомой и, по ее словам, был спокоен, ровен. После 14 июля люди, как водится, стали из Парижа разъезжаться. Толстой и Чулков отправились на океан, Ахматова уехала в Петербург. Гофман остался один, погрузился в жизнь бульвара Сен-Мишель. В то лето неистовая жара стояла над Западной Европой. Тогдашние парижские газеты полны описаниями смертных случаев от жары. Что произошло с Гофманом — довольно трудно понять. 11 августа Я.А.Тугендхольд получил от него записку с просьбой зайти. Гофман писал: "Из того револьвера, о котором я вам говорил, я прострелил себе палец. Главная опасность заключается не в ране, а во французских врачах-шарлатанах. Не могу найти ни одного порядочного."

Сохранилась его записная книжка, испещренная адресами врачей и лечебниц. Наконец он попал к русской женщине-врачу. Рана была пустячная и почти уже зажила, но у Гофмана появился жар. Решив, что это брюшной тиф, Гофман объявил, что поедет в Москву к матери. Одна русская дама предложила ему перебраться к ней, в свободную комнату. В воскресенье, 13 августа, утром, она должна была к нему зайти. В половине одиннадцатого она пришла, не достучалась и вышла на время. Когда же вернулась, то ей сообщили, что в 11 часов гарсон, зайдя в комнату для уборки, нашел Гофмана на полу мертвым.

За несколько дней до этого одна из жилищ отеля сошла с ума и ее увезла полиция. Хозяин отеля впоследствии

рассказывал, что в день своей смерти в 9 часов утра Гофман вызвал его звонком и сказал:

— Зовите полицию, я сошел с ума.

Хозяин стал его успокаивать. Гофман его наконец отпустил:

— Хорошо, можете идти. Я напишу письма и немного пройду; надо прибрать комнату, ко мне должна прийти барышня.

Хозяин ушел, а Гофман застрелился, оставив письма к сестре и матери. В одном из них он писал: "Надо попытаться ухитриться зстрелиться". Когда я впоследствии передал эти слова Брюсову, тот сказал: "Какая неуклюжая фраза. Но интересно".

В "Пти Паризьен" от 14 августа 1911 г. мельчайшим шрифтом напечатано: "Вчера в десять с половиной часов утра русский студент Виктор Гофман, 27 лет, живший в отеле, 43, бул. Сен-Мишель, покончил с собой выстрелом из револьвера в висок".

Студентом тогда назывался каждый русский, читавший книги и живший в Латинском квартале.

Страх перед сумасшествием стал мучить Гофмана гораздо раньше этого лета. Давно уже он пугался перемен в своем почерке, пропуска слов в письмах и т.д. Вероятно, какую-то роль сыграли парижские впечатления тех дней, сумасшедшая женщина, простреленный палец... Но это все — внешнее, это поводы, а не причины. Причина — страшный надрыв русского декадентства, унесшего немало жертв. Гофман был только одной из первых.

О смерти Гофмана я узнал в поезде, когда, еду из Венеции в Москву, на вокзале в Ченстохове купил "Речь". И Гофман вспомнился так отчетливо — в гимназической куртке, а потом — в неправдоподобном "испанском" костюме, в седом парике, с покрашенным шрамом на лбу. Гофман полулежит в кресле, я стою перед ним на коленях. Он протягивает руку над моей головой и говорит протяжно в нос:

**Мой сын, мой сын, будь тверд, душою не дремли.
Поэзия есть Бог в святых мечтах земли.**

Это мы на гимназическом спектакле разыгрываем "Камоэнса".

Лет десять тому назад я был на могиле Гофмана на кладбище Банье. На могиле стоит тяжелый памятник с урной, с крестом и краткою надписью. Тут же разросся огромный куст — весь в колючках. Под ним я нашел полинялый букетик искусственных фиалок.

БЛОК И ЕГО МАТЬ

В душе каждого человека, поэта в особенности, есть расплавленное ядро, недоступное никому и порой едва постигаемое им самим. Ядро окружено зоною, не вовсе недоступною, но все же оберегаемой более или менее ревниво. Замкнутость человеческая определяется толщиной этой зоны, постепенно затвердевающей снаружи и переходящей в ту душевную кору, которая обращена к миру и подвержена его непосредственным воздействиям.

Блока нельзя назвать нелюдимым. У него были друзья, он поддерживал связи личные и литературные; немалую часть души отдавал он женщинам, которых насчитывал до трехсот — см. его записную книжку. Со всем тем, некоторая замкнутость ощущалась в нем очень явственно. Очень близко от душевной поверхности начиналась у него та часть души, которою он соприкасался лишь с двумя людьми: с женою и с матерью. Но в этой части возникала и развивалась его поэзия. Поэтому она и представляет для нас особенный интерес.

До последнего дня своей жизни Блок неизменно и очень любовно хранил душевную близость с матерью. Эта близость порой подвергалась некоторым испытаниям, но для сохранения ее Блоку не надо было делать никаких усилий, ибо напротив — вряд ли бы ему удалось нарушить ее. Узлы, соединявшие его с матерью, по-видимому, были крепче его сознательной воли. Последняя сущность этой связи лежала весьма глубоко. Поэтому многое в ней для нас и неясно и даже неуяснимо. Должно быть, оно так было и для самого Блока, который сам не все в себе уяснял и уяснять не стремился. Однако

наличие этой связи легко прощупывается, и некоторые (заранее скажу — смутные) черты ее все же можно наметить по его дневникам, записным книжкам и особенно по его письмам к матери. О прочности и значении связи свидетельствует уже самое их количество. В двухтомном собрании писем Блока к родным (письма к жене сюда не вошли) имеется 635 писем за время с 1890 по 1921 год, — год его смерти. Из них 571 письмо обращено к матери.

"Милая крошечка мама!" — пишет одиннадцатилетний Блок 10 июня 1892 г. В других детских письмах он ее зовет "кроша", "драгоценная маленькая крошка", "капельная мамочка", и еще нежнее: "Забавник маленький!". Это не просто ласкательные имена: Александра Андреевна была маленькая, тонкокостая, узкоплечая, хрупкая. В ее проворных, точно мышинных движениях, навсегда осталось что-то девическое или даже детское. Лицом она никогда не была хороша.

Происходила она из семьи Бекетовых — столбовых российских интеллигентов, родством и свойством связанных с Карелиными, Якушкиными, Соловьевыми. Дядя ее был известный химик, академик Бекетов. Отец, также ученый, одно время был ректором Петербургского университета. Мать оставила ряд переводных работ в стихах и прозе. Семья жила научными, литературными, музыкальными интересами. Атмосфера в доме была романтическая, приподнятая. Училась Александра Андреевна довольно плохо, зато увлекалась литературой и писала стихи, так же как две сестры ее. Была мечтательна, экзальтирована и нервна до последней степени. Была весела, порой шаловлива, но когда раз увидела в Неве утопленника, с ней сделалось нечто вроде нервного паралича.

Восемнадцать лет она вышла замуж за Александра Львовича Блока, приват-доцента, читавшего государственное право в Варшавском университете. С ним уехала она в Варшаву, где и прожила года полтора. Осенью 1880 г. она приехала в Петербург к родным — замученная неудавшейся семейной жизнью, на восьмом месяце беременности. 16 ноября родила она Александра Блока, но к мужу уже не вернулась. Девять лет спустя она вышла замуж вторично — за Франца Феликсовича

Кублицкого-Пиоттух, поручика лейб-гвардии Гренадерского полка.

Маленький Блок с первого дня своей жизни был окружен экстатической любовью прабабушки, бабушки, матери, теток. Впоследствии эта любовь перешла в восхищение и поклонение, которые сопутствовали ему всю жизнь. Восхищались его наружностью, его способностями, его стихами — с первых до последних. Следили за каждым шагом его, за всем, что его касалось, принимали все близко к сердцу, во все любовно вмешивались, — вплоть до его ранних сердечных дел. Тщательно берегли о нем сувениры, начиная с его детских писем. Он привык давать матери подробнейшие отчеты о всех мелочах своей жизни. В детстве хворал он желудком и, гостя у родных в деревне, сообщал матери что и когда съел и как желудок подействовал. Но вот, 17 августа 1903 г. он женился и после венца уехал с молодою женой в Петербург (свадьба была в деревне). 20 августа он сообщает матери из Петербурга: "Милая мама. В квартире удивительно хорошо. Любе все очень нравится. Когда приехали (в ландо!), получили пирог от Евгения Осиповича... На кольцах вырезали имена. Кушали: различные супы, котлеты, бифштексы, зразы, конфеты, груши, сливы и сладкие пироги". Гастрономические отчеты составляют один из лейтмотивов его переписки с матерью — не потому, что он любил покушать, а потому, что она этим интересовалась. С такою же тщательностью всю жизнь сообщает он ей о поездках по железной дороге. От их имения до Петербурга езды была одна ночь по Николаевской жел/езной/дор/ороге/. Но вот — типичная открытка, посланная 27 августа 1905 г.: "Милая мамочка, доехали недурно. В Клину пересели в № 12, т.к. 16 был набит. Спали, несмотря на тесноту и жару, хорошо. В Любани пили чай и кофей. Опоздали около часу, приехали около 10 часов (вместо 8.45). Любе с утра противно, а мне — нет. Потому что я умывался, а Люба — нет. Кушали в вагоне (Люба говорит) мало, но я — много. Все время — солнце..." И так как он уже взрослый и понимает смешную сторону подобных отчетов, то иронически заканчивает письмо: Петербург расположен на обеих берегах Невы"*.

Параллельно с отчетами о еде и езде тянутся отчеты о раз-

ных других мелочах: о принятых ваннах, о прислугах, о купленных книгах (с указанием цен), в особенности подробно — об устройстве квартир и комнат, о расположении книжных полок и т.д. В гимназическую пору писал он ей письма в виде дневников, в которых события прослеживались не по дням, а по часам. Такие же дневники посылал он ей не раз и впоследствии: между прочим, когда в начале 1904 года ездил в Москву знакомиться с молодой литературой, с кружком Андрея Белого, с Брюсовым. Впрочем, можно сказать, что и большинство его писем отчасти приближается к дневникам: с такой обстоятельностью в них сообщается о времяпровождении, о посещении лекций, театров, концертов, о том, где и когда был сам Блок, куда ходила его жена и кто приходил к ним.

* * *

До женитьбы, то есть до 1903 г., Блок жил с матерью под одною кровлей. Они почти не разлучались. Но и после женитьбы разлуки их бывали непродолжительны. Только раз Александра Андреевна с мужем на полтора года переселялась в Ревель, да и за это время она приезжала к сыну и он ездил к ней. Вообще же оба они жили в Петербурге или в деревне, и переписываться им случалось лишь в те сравнительно небольшие промежутки, когда не совпадали сроки их пребывания в имении, когда Блок уезжал за границу (оба раза — ненадолго) или на фронт, наконец — когда Александра Андреевна жила в санатории. Если при этих условиях за семнадцать лет накопилось более пятисот его писем к ней, то уже одно это свидетельствует об интенсивности переписки. И в самом деле, расставаясь, писали они друг другу почти ежедневно. Она не только страстно хотела следить за каждым часом его жизни, но и считала это своим неотъемлемым правом. Впрочем, такие слова, как право или обязанность, тут даже и не подходят. Кажется, не только она бы не вынесла, если б не знала о нем чего-нибудь, но и он увидал бы себя совершенно осиротелым, если бы вдруг перестал ощущать ее пристальный, неотрывающийся взгляд. И как в детстве, он ей сообщал подробности о желудке и не стыдился перед нею своей наготы, так в зрелые годы он с младенческой нестыдливостью сообщал ей такие

вещи, которые как раз всего менее принято рассказывать матерям. "Я провел необычайную ночь с очень красивой женщиной", — пишет он 18 апреля 1908 г. "После многих перипетий очутился часа в 4 ночи в какой-то гостинице с этой женщиной, а домой вернулся в девятом. Так и не лягу. Весело". Ровно через месяц он ей рассказывает: "Мама, последние дни я ложусь спать через ночь и трачу много энергии на вино, катанья по морю, блуждания по полям и лесам, на женщин". Замечателен эпический тон таких рассказов: Блок не кается и не бравирует и от матери не ждет никакой критики. Сообщает ей, точно сам для себя вспоминает или записывает в дневнике, отмечая лишь факт, чтобы она знала о нем все то, что он знает сам.

Так же эпически он ее извещает о приступах пьянства и о периодах трезвости: "Мы с Кокой были пьяны вдрызг". Это — по случаю окончания гимназии. Но точно так же и впоследствии, когда он пил не на радостях и не случайно: "Я вернулся рано, по редкости случая трезвый"; "пью только редкими периодами"; "третьего дня был пьян до бесчувствия"; "напиваюсь ежевечерне"; "пью мало, с Чулковым вижу реже"; "пил один, а также с Чулковыми"...

Такие сообщения он делал без комментариев — она их без комментариев принимала. Видимо, только раз она его слегка упрекнула — и он ответил: "Ты права, мама: не пить, конечно, лучше. Но иногда находит такая тоска, что от нее пьешь". В другой раз он сам как бы оправдывается: "Отчего не напиться иногда, когда жизнь так сложилась". Это показывает, что мать была хорошо осведомлена насчет того, как именно "жизнь сложилась", и что она в конце концов признавала за ним правоту, когда он пил.

Александра Андреевна действительно знала о своем сыне все — и не только знала, но оказывалась действующим лицом в таких событиях его жизни, которые, казалось бы, не допускали ничьего вмешательства. О личной драме, разыгравшейся в жизни Блока с самого дня его женитьбы, сейчас говорить не время. У меня есть основания полагать, что эта драма и никогда не будет до конца исследована, хотя она очень тесно связана с историей его поэзии. Однако можно сказать уже и теперь,

что отношения Блока с женой, в которых весьма реальное горестно и мучительно переплеталось с совсем не реальным, осложнялись параллельно происходившими трениями между его женой и матерью. Но это были отнюдь не обыкновенные нелады свекрови с невесткой. Александра Андреевна предъявляла к Любви Дмитриевне требования вполне мистического порядка, и если происходили меж ними житейские столкновения, то это была лишь проекция совершенно иного раздора. Если бы Блок был немного менее честен с собою и немного менее откровенен с матерью, ему не трудно было бы хоть ослабить раздор между Любовью Дмитриевной и Александрой Андреевной. Но перечтите его письма, изданные в этой части с купюрами, — и вы увидите, что с совершенным непониманием, как можно допустить ложь, или хоть полуправду, или хоть умолчание, — он сообщал матери о жене все то, что должно было восстанавливать мать против жены.

Несколько огрубляя предмет, можно сказать, что борьба между Александрой Андреевной и ее невесткой шла за тот, а не иной характер влияния, оказываемого Любовью Дмитриевной на Блока. Но этого мало. По-видимому, если бы даже это влияние было именно таково, как хотелось Александре Андреевне, — она все равно бы не примирилась, ибо в глубине души не хотела допустить никакого влияния вовсе. Она ревновала. И хотя Блок был весьма далек от того, чтобы "оставить" мать и "прилепиться" к жене, и хотя в вопросе о характере, о цвете влияния стрелка его сочувствия очевидно склонялась в сторону матери, — Александра Андреевна не переставала ревновать. Она хотела, чтобы путь к душе Блока шел через нее — и чтобы все признали, что так должно быть. Потому-то другие женщины, которыми порой увлекался Блок, оказывались на сей счет покладистее его жены: они явственно старались приобрести сочувствие Александры Андреевны и порой добивались этого откровенною лестью, и Александра Андреевна дарила их своей дружбой, потому что ей казалось, что душу Блока они у нее не отнимают. Меж тем, не слишком интересуясь душою Блока, они-то и окрашивали ее в те темные мистические цвета, которых так боялась Александра Андреевна.

Весной 1908 г. Андрей Белый выпустил свою "Северную" симфонию. Рассказав о ней матери, Блок прибавляет: "Я просил его прислать ее тебе". Через четыре дня — вновь о том же: "Боря пишет мне встревоженные письма (обещает, между прочим, прислать тебе "Симфонию"). И через год: "Получила ли ты Зайцева в подарок? (мне он прислал) ".

Он хлопотал о том, чтобы знакомые писатели посылали ей свои книги. Он добывал ей театральные билеты, извещал ее о лекциях, концертах, литературных собраниях, — не говоря уже о том, что она непременно бывала на всех вечерах, где он выступал. В феврале 1921 года, в лекторской комнате "Дома литераторов", разговаривая со мной, он все беспокоился, как бы мама не опоздала к началу его речи о Пушкине, хотя за несколько дней перед тем она уже присутствовала на первом чтении той же речи.

Несомненно, она искренно была занята литературными вопросами и делами. Но, по моему личному впечатлению и как можно почувствовать по письмам Блока, большую роль тут играла ее гордость сыном и свойственный многим истерикам страх быть незамеченной. Впрочем, с ее литературными мнениями Блок считался не только потому, что хотел утолить ее самолюбие. Кажется, было и это, — однако к ее суждениям он прислушивался, хотел знать их, дорожил ими. "Напиши мне о Факелах", "твое мнение о рассказах Городецкого, по моему, очень тонко — и исчерпывающе". Таких фраз немало в его письмах. Все собственные писания он читал или посылал ей, и она иногда судила их строго. "Я почти поверил тебе, что стихи мои плохи", — пишет он 27 ноября 1907 г. В другой раз. "Сегодня получил твое письмо. Да, статья о Бальмонте скверная". Посылая "Песнь Ада", он прибавляет: "Я думаю, что тебе она не понравится, как и мне нравится ограничительно". Когда же выяснилось, что, напротив, стихи ей понравились, он и сам осмелился похвалить их и отметить их достоинства.

Чтобы признавать чей-либо авторитет, мало любить человека, мало его уважать, мало — признавать за ним знания, надо еще иметь общую базу суждений. Тут мы и подходим к тому, что связывало Блока с его матерью.

Александра Андреевна смолоду была религиозна и экстаична. По-видимому, первоначальные религиозные, а потом и мистические чувства были привиты Блоку именно ею. Этим переживаниям она придала определенный оттенок, и поскольку они никогда уже Блока окончательно не покидали, поскольку до конца составляли они глубочайшую основу его внутренней жизни, — постольку нам ясно, что тут-то и заключалась причина неразрушимой и главное — постоянно возобновляющейся, как бы воскресающей из пепла, его душевно-духовной близости с матерью. Достоверно свидетельствует об этом и ряд его стихотворений, посвященных ей. В чисто литературном отношении это далеко не лучшие его стихи. Литературные их достоинства умаляются неясностью, туманностью, но самая эта туманность всего лучше свидетельствует об их глубокой интимности. Несомненно, они полны намеков на недошедшие до нас важные беседы между сыном и матерью; несомненно, что эти туманные высказывания и смутные образы восходят к важнейшим темам и сторонам их внутреннего общения.

Необходимо заметить, однако, что это общение, совершенно необходимое для Блока, в то же время подвергалось как бы постоянному кризису. В Блоке довольно рано наметился протест против мистики вообще или по крайней мере против некоторых форм, которые она порой принимает. Насколько тут прав или не прав был Блок — вопрос особый. Факт, что этот протест в нем жил и сказался во многих записях его дневников, в его переписке, в статьях его, наконец — в его пьесах, особенно в "Балаганчике". В конце концов сам он был и остался мистиком на всю жизнь, но порочные формы мистических увлечений, которые приходилось ему наблюдать в ближайшем семейном, дружеском и литературном окружении, уяснились ему давно. В записной книжке 1906 года посвятил он сравнению мистики с религией несколько страниц, в которых рядом с отчасти сбивчивыми местами встречаются формулировки очень отчетливые. "Мистика — богема души", говорит Блок. "Сильная душа пройдет насквозь и не обмелеет в ней, так как не убоится здравого смысла. А слабая душа, вечно противящаяся "здравому смыслу" (во имя не-

здорового смысла) потеряет и то, что имела. (Лучше ничего не иметь, чем хлыстик вместо бича)... Из мистики вытекает истерия..."

В этих несколько раздраженных суждениях многое основано на опыте личного общения с некоторыми мистиками, и кажется, прежде всего — с матерью. Поэтому Блок был бы гораздо более прав, если бы сказал иначе: не "из мистики вытекает истерия" (это обще и неверно), но примерно так: "мистика часто подменяется истерией", или: "нередко истерия принимается за мистику".

Александра Андреевна была очень болезненна. Сердечной болезнью страдала она по крайней мере лет с тридцати пяти. Истерия в ней начала проявляться с отрочества и приблизительно с 1908-1909 г. приняла очень острую и тяжелую форму. Александру Андреевну несколько раз приходилось помещать в санаторий. Вообще же заботами и тревогами о ее здоровье наполнены письма Блока и его дневники.

Ей свойственны были припадки болезненной меланхолии. На нее накатывала беспричинная тоска. И то, и другое в ней смешивалось с переживаниями мистическими, которые были ей в самом деле свойственны. Поэтому в конце концов, как все истерички, она любила свою болезнь, ценила ее в себе и не умела и не хотела различать, что в ее мировоззрении от истерии, что — от мистики. Блок понимал это — иногда слабее, иногда отчетливей, а так как помимо матери вокруг себя видел он много примеров такого же смешения, то, в конце концов, это влияло на его отношение к мистике.

О необходимости отделять болезнь от мистики и мирозерцания говорил он матери то намеками, осторожно, то очень откровенно. "Тебе было бы полезно иногда мириться, что ли, и вообще подавлять остроту и тупость своей тоски. Я думаю, что тут нет греха". Так пишет он ей 10 апреля 1908 г. и прибавляет через несколько строк: "Хотел бы я заразить тебя хоть частью своей простоты и ясности". В 1910 г., когда она была в санатории, он ей писал: "По тому, что ты пишешь, доктор Соловьев — милый человек. И гораздо лучше, что он — антимистик, не все же и не вечно видеть изнанку мира и погружаться в сны". Через несколько дней: "Живи, живи рас-

тительной жизнью, насколько только можешь изо всех сил, утром видь утро, а вечером вечер". В одном письме он прямо заявляет, что ее состояние есть следствие переходного периода .

Забавно, что иногда он осмеливался доходить до иронии по отношению к ней. Эта ирония едва уловима, конечно, но она несомненно присутствует в письме от 21 февраля 1911 года, когда в ответ на ее письмо не без бравяды он заявляет что телесная культура "должна идти наравне с духовной" и затем рассказывает ей о французской борьбе, о "гениальном" борце Ван-Риле, который его вдохновляет для поэмы "гораздо более, чем Вячеслав Иванов" и наконец сообщает, что решил как следует заняться гимнастикой. Это письмо, разумеется, ей не понравилось, но он не унылся и в следующем не без яда и не без задора спрашивает: "Что же ты не отвечаешь мне на письмо о гимнастике?" Заметим, однако: это — самое обидное, самое злое, что он когда-либо ей написал. Впрочем — было еще раз, в ту же пору. Недели две он изо всех сил старался найти ей меблированную квартиру в Петербурге, куда она должна была приехать из санатория. Одно за другим сообщала она ему свои требования касательно цены и обстановки. Наконец, потребовала она, чтобы в квартире была и посуда. Тут он не выдержал: "О-го-го, еще и посуда!" Но, должно быть, почувствовал страшную грубость в этом "о-го-го" и тотчас прибавил: "Ну, постараюсь поискать". И на другой день нашел.

И все же он сам был подвержен таким же смутным и мутным приливам тоски, как она. Как она — прислушивался к беспричинным своим "настроениям". Как она — связывал мысли и чувства с обстановкой квартиры, с погодой и цветом неба. Как она — "частенько находился по отношению к земному в меланхолическом состоянии". Как она — в личных минутных переживаниях искал и находил предвестия будущего и ответы на вопросы, которые лучше решать не на столь шатких основаниях. Они глубочайшим образом были схожи.

Он даже верил, что между ними есть тайная, неуловимая и неуяснимая связь. Самые тревожные ее письма одним фактом своего появления утешали и успокаивали его. Вот типичный

отрывок из его записной книжки: "Днями изнервлен, устал, почти болен, зол. Все это может предвещать — или наступление новых бед, событий, потерь, уничтожений, или — проходящий кризис, начало чего-то нового опять, обновление жизни, возврат вдохновения. Письмо бы от мамы!"

Она ему сообщала о своих снах, и он придавал им значение. Иногда она видела во сне его, и тогда он ей рассказывал, что в этом сне соответствовало действительности, а что — нет. В ответ на ее письма о снах посылал ей телеграммы, чтобы она не тревожилась. Он верил, что между ними есть общение телепатическое. 14 февраля 1911 г. он пишет: "Без конца не мог заснуть и тосковал, как давно не бывало (от 3-х до 5-ти час. ночи на 13 февраля. Не чувствовала ли ты себя скверно?)". Обратный случай. В ответ на ее письмо с описанием тяжелого сна, он пишет: "Мама, я здоров. Вчера вечером были Женя, Ге и Пяст, и я, от сильного напряжения, скверно чувствовал себя ночью. Может быть, оттого ты видела сон. Господь с тобой".

И в самом деле, какая-то пуповина меж ними не была оборвана. Они понимали друг друга так, как нам уже их не понять. И в стихах его есть несвязные бормотания о том, чего язык не мог выразить. Наверное, ей они что-то говорили — если не уму ее, то хоть сердцу.

За месяц до смерти рассудок Блока стал омрачаться. Он говорил непонятные вещи. Мать долго не хотела, чтобы об этом знали. Может быть, потому, что для нее это было не так, потому, что и в этом состоянии она-то еще по-своему понимала его, ощущая его мысль, как за сорок один год до того ощущала его тайные движения, шевеления, толчки — под сердцем. Сама она пережила его ненамного.

15 ноября 1928

ПИСЬМО

Вот что случилось со мною на днях. Выходя из одного русского книжного магазина, я на несколько минут задержался в беседе с хозяином. Потом, распроставшись, направился уже к выходу, но вдруг увидел человека, стоявшего у прилавка спиной ко мне. Приняв его за одного из служащих, с которым за полчаса до того говорил о делах, я подошел к стоящему человеку и громко сказал:

— До свидания.

Человек не обернулся. Напротив, ниже склонился к какой-то книге, которую перелистывал. Поняв свою ошибку, я проговорил: "Простите" — и сбоку заглянул в лицо его. Тут-то и оказалось, что это — N,* мой давнишний друг, москвич, даровитый писатель. Сейчас он, очевидно, приехал сюда на побывку.

Нас было в комнате всего трое. Он не мог не слышать моего разговора с хозяином магазина, не мог не понять, что за спиной у него стою я, а не кто другой. Не мог не понять и того, что мое нечаянное "до свидания" относилось к нему. Но он сделал вид, будто он — не он, будто я — не я. Сжался, съехался, спрятался в книгу. Бедный советский "гражданин", запуганный, загнанный, всюду подозревающий сыщиков и доносчиков, он побоялся узнать меня и быть узнанным мною.

* Абрам Маркович Эфрос (1888-1954). Один из наиболее ярких историков культуры, начавший свою профессиональную деятельность еще до революции. Театровед, искусствовед, переводчик и литературный критик. До того как в годы "борьбы с космополитизмом" начал подвергаться гонениям и был "сослан" в Ташкент, преподавал в студии при МХАТе, в ГИТИСе, где создал свою школу театроведения, работал в Институте истории искусств. Вместе с другим крупнейшим историком и литературоведом А. Дживилеговым был инициатором серии "Литературные памятники". Эфрос — автор блестящих книг: "Профили" (М., 1933) — о русских художниках конца XIX — начала XX века, "Рисунки поэта" (М., 1934) — о рисунках Пушкина, "Два века русского искусства" (М., 1969) — фундаментального исследования по истории русского искусства, изданного посмертно, а также множества статей по отечественному и зарубежному искусству, литературе и театру. (Примеч. ред.).

...Я вышел из магазина молча. Но чувствую, что необходимо сказать старому приятелю несколько слов — и вот я пишу в надежде, что газетный лист попадет в его руки.

Дорогой друг!

Прежде всего, не думайте, что это письмо вызвано обидой. Когда вы сделали вид, что меня не видите и не слышите, я не обиделся. Знаю из достоверного источника (тоже от одного приезжего), что вам, советским писателям, дается точное расписание, с кем из эмигрантов встречаться воспрещено, а с кем разрешается. Я принадлежу к числу "запретных" — и слава Богу: для меня было бы ужасно значиться в числе тех эмигрантов, свидания с которыми ГПУ разрешает и даже поощряет. (К несчастью, такие имеются.)

Когда мы встретились в книжном магазине, от меня зависело повергнуть Вас в страх или в стыд. Третьего не было. Я мог Вас окликнуть, заговорить с Вами — Вы дрожали бы: а вдруг кто-нибудь войдет и застанет Вас за крамольной беседой со мною? И после этого Вы не спали бы ночей и здесь, и по возвращении в Москву: все бы чудилось Вам, что свидетель нашего разговора уже сделал на Вас донос! А вдруг ГПУ не поверит, что больше мы не встречались? Было бы жестоко и незаслуженно подвергать Вас таким мучениям. Мне оставалось уйти, будто бы не узнав Вас, что я и сделал. Но это и значило повергнуть Вас в глубочайший стыд, ибо, конечно, и в ту минуту, и после, и сейчас Вы краснеете, вспоминая, как от меня отвернулись, как спрятались, выдавая себя — не за себя. Но согласитесь, мне ничего другого не оставалось делать.

Конечно, Вам стыдно, и эту минуту Вы всегда будете вспоминать со стыдом! Ведь мы — старые приятели, со дней нашей юности. Ведь мы хоть и были всегда на "вы", все же по юношеской привычке зовем друг друга не по имени и отчеству, а уменьшительными именами. Отношения наши всегда были прекрасны. Ни разу не возникало меж нами ни тени, ни призрака ссоры, обиды или охлаждения. К моим писаниям Вы всегда относились любовно, как и я — к Вашим. В разных литературных затеях и стычках мы, кажется, всегда были союзниками — до последних дней моего пребывания в России. Вы были другом не только моим, но и человека мне бесконечно

дорогого, которого уже нет в живых. Наконец, вспомните: накануне своего отъезда из Москвы я зашел к Вам проститься, а потом Вы провожали меня до Большой Никитской. Мы обнялись на прощание — и вот нынче какая встреча!

Что же легло между нами? Политическая вражда? Быть не может. Слишком я знаю Вас, Вы — меня. Конечно, большевицкий яд силен, отчасти он бродит и в Вас, как во многих писателях, одурманенных тамашнею ложью. Поэтому психологически очень вероятно, что Вы сейчас стараетесь заглушить в себе стыд разными софизмами на тему о том, что эмиграция враждебна России, вредна ей, что я был для Вас в ту минуту представителем эмиграции. Но послушайте, милый друг! Ваш невольный жест говорил о другом, выдавал Ваше подлинное, не надуманное душевное состояние. Вы отлично знаете, что при встрече с идейным противником не утыкаются в книгу, не прячутся. При встрече с приятелем, ставшим врагом, — говорят ему прямо: — Вы мой враг, я Вас не желаю знать и не подаю Вам руки.

Вы же — спрятались именно потому, что вражды ко мне не чувствуете. Не обольщайте себя: между нами легли не политические расхождения: как бы даже по существу ни были они велики, в данном случае психологически они вовсе не столь императивны. Нет, скажем прямо. Страх, только страх перед всеведущим ГПУ заставил Вас спрятаться. Вот что означал Ваш поступок: запуганность. Попрекать Вас этой запуганностью было бы с моей стороны низостью: я-то ведь недосыгаем для ГПУ. Но по поводу нее, в связи с ней, хочу Вам сказать несколько слов. Они-то и составляют истинную, главную цель моего письма, потому что не ради же личных наших отношений прибегаю к столь странному способу конспиративной переписки — на газетных столбцах.

Не так давно несколько писателей, живущих в советской России, составили и переслали за границу известное письмо свое: обращенный к Европе крик о той страшной нравственной пытке, о том неслыханном угнетении, которому в СССР подвергается слово писателя и его личность. ГПУ, разумеется, тотчас назначило "строжайшее расследование", чтобы выловить авторов письма. Я думаю, в конце концов, оно их и вы-

ловит, а если не удастся, то "изобличит и покарает" кого попало: ну, хоть просто кого-нибудь, кому не нравятся сочинения Безыменского. Но это — дело ГПУ, за него с ГПУ и взыщется. Вам же я скажу вот что.

В 1918 г. мы с Вами вместе трудились, основывая Московский Союз писателей, ставший впоследствии всероссийским. Первым его председателем был М.О.Гершензон. Большевики, как вы помните, в Союз не допускались. Мы открыто им заявляли, что в Союз писателей не могут входить лица, принципиально отрицающие свободу печати. Они туда были впущены не раньше 1923 года — и изнутри завладели Союзом. Даже председательское кресло ныне, если не ошибаюсь, занимает Воронский.

И вот из этого опозоренного Союза Вы, друг мой, не только не вышли (что было бы демонстрацией, быть может, рискованной), — но и до сих пор принимаете самое деятельное участие в его жизни. Вы близки к самым верхам его. Вот от этой близости Вы могли воздержаться. Но Вы не воздержались, а потому и несете свою долю ответственности за деяния Союза.

Не стану попрекать Вас историей 1925 года, когда Союз так позорно по приказу чекистов "протестовал" против участия Бунина и Куприна в съезде PEN-клуба и объявлял Бунина и Куприна уже не русскими писателями, а русскими — Аросева и Петра Когана. Бог с ней, с этой историей...

Теперь Союз сделал нечто худшее. Он поспешил выступить с осуждением тех несчастных, которые, доведенные до отчаяния, рискуя жизнью, переслали сюда, за границу, свое письмо. Союз "писателей" предательски отрекся от своих братьев. Их предсмертный стон Союз захотел представить перед Европой, как подлог или клевету, сам же поспешил засвидетельствовать, что он премного благодарен доброму начальству за сладостное житье писателей в СССР.

А в чем клевета? В том, что писатель в России забит, загнан, запуган, как никогда и нигде, до потери человеческого облика? Бедный друг мой! Да если бы Вы даже искренно думали, что это клевета, — оглянитесь на себя. В ту минуту, когда Вы прятались от меня в книжном магази-

не, всем своим обликом Вы выражали не что иное, как живое, воплощенное подтверждение этой "клеветы". Вы, "протестующий" против утверждения, что писатели русские находятся в рабстве, — являли собой самое рабское, самое приниженное зрелище, какое мне доводилось видеть. Никогда не забуду сконфуженной, перепуганной спины Вашей.

И главное — Вы отнюдь не единственный. Приезжают сюда и другие писатели из России — и все являют такое же зрелище запуганности. И они тоже при встрече с нами перебегают на другую сторону улицы, либо прячутся за угол. И они опускают глаза, делая вид, что они — не они. Некоторые, которые попроще и посмелее, сперва разлетаются к нам, но потом, получив нагоняй в полпредстве, откуда следят за ними специально здесь для того проживающие "писатели", — стушеваются. (Вы как более благоразумный стушевались сразу, заранее.) Я мог бы, не называя имен, привести примеры и документы, но Вы мне и так поверите: собственный ваш пример у Вас перед глазами.

Еще раз прибавлю для ясности: других я не упрекаю ни в чем. Я беру их не как примеры трусости, а как пример) забитости, то есть несчастья. Может быть, и они, скрепя сердце, голосовали в Союзе за позорную резолюцию: попробуй, поголосуй против. Но Вы — не рядовой член Союза, с Вас и ответ другой. Вы резолюцию вырабатывали!

Поэтому, когда Вы вернетесь в Москву, скажите-ка там кому следует: "Господа товарищи, трудновато мне заявлять Европе, будто писатель в СССР вами не угнетен. Трудновато, ибо я сам, приехав туда, сразу выдал, как я вами унижен и угнетен. И Европа об этом узнает".

Скажите так — и уж больше не принимайте участия в выработке советских протестов и опровержений.

Так-то вот. Что еще прибавлю? Не нарекайте на меня за прямые слова. Впрочем, если бы Вы стали гневаться, я отвечу Вам словами, написанными здесь же, в Париже, без малого сто лет тому назад:

"Язвит и жжет горечь слов моих... Пусть она изъязвляет

и жжет — не вас, но ваши оковы... А если кто станет нарекать, — для меня его нарекания будут как лай пса, который так привык к терпеливо и долго влачимой цепи, что уже готов кусать руку, срывающую с него эту цепь".

Октябрь 1927

ПЕРЕД КОНЦОМ

Статья М.А.Алданова "О положении эмигрантской литературы" заставляет вернуться к теме, которой не раз я касался на этих страницах, но о которой вообще говорить не любят — кажется, именно потому, что она слишком важна, а главное — не допускает излюбленной отговорки нашей: "Мы тут бессильны". О будущей мировой войне любим мы говорить часами — всласть. Нам доставляет даже сугубое наслаждение — пророчить неминуемую и близкую всеобщую катастрофу, потому что после таких пророчеств очень красиво выходит — пожать плечами, сказать, что "мы тут бессильны", и идти спать с видом скованных Прометеев. Вопрос же, о котором идет речь, — наш, только наш, только от нас ожидающий разрешения — или не-разрешения. Неприятный вопрос.

Говоря о бедственном (я бы его назвал ужасающим, предсмертным) положении нашей литературы, Алданов видит главную причину ее несчастья в обстоятельствах материальных: "Она прежде всего и больше всего страдает от бедности — не в каком-либо фигуральном, духовном смысле слове, а в житейском, самом обыкновенном и очень страшном".

С этими словами невозможно не согласиться, хотя они и требуют оговорки: настоящую, действительную, отнимающую силы бедность испытывает лишь молодая, начавшая свою деятельность в эмиграции литература. Но она-то и есть единственный залог нашей литературной будущности. Сохранить или погубить ее — значит сохранить или погубить эмигрантскую литературу вообще. Другой вопрос — может ли и хочет ли эмиграция спасти свою литературу, и если хочет, то как это

сделать. Но не подлежит сомнению, что для этого прежде всего надо победить бедность. Однако вот тут, с этого главного пункта, в котором я глубоко согласен с Алдановым, начинается и некоторое наше с ним расхождение.

"Неприятно подходить к сложному явлению "грубо". Мне приходится это сделать..." Начиная статью такими словами, Алданов как бы извиняется за то, что намерен говорить о литературе со стороны материальной. Его смущение, разумеется, напрасно: литература имеет свою профессиональную сторону, которая на нее порой оказывает глубокое влияние. Современный писатель, даже и не только эмигрантский, жив доходами от своих писаний, а не от "деревенек". Мне даже кажется, что статья Алданова страдает не "грубостью" (которую, впрочем, он сам заключил в кавычки), а напротив того — излишнею осторожностью. Он совершенно прав, усматривая главную причину литературного нашего неблагополучия в бедности. Но дело все в том, что бедность — причина ближайшая, непосредственная, воздействующая на литературу лишь механически. Есть другая причина, еще более главная, если так можно выразиться, — причина основная, от которой и сама бедность проистекает. Этой причины Алданов не пожелал коснуться.

По Алданову выходит все очень грустно, но очень прилично: эмигрантская литература гибнет от бедности, потому что бедна эмиграция. Я думаю, что дело обстоит еще более грустно, потому что гораздо менее прилично: материальное неблагополучие нашей литературы есть следствие нашего неблагополучия культурного.

Я когда-то уже писал, что наш книжный рынок (а за ним — авторы книг) погибает от того, что эмиграция почти без остатка делится на три категории людей: на тех, кто покупать книги не хочет и не может, на тех, кто хочет, но не может, и, наконец, на тех, кто может, но не хочет. В существующем положении вещей виноваты, конечно эти последние. Не следует утешаться мыслью, будто их все равно слишком мало для поддержания нашей книготорговли, как не следует верить голодных эмигрантов, будто эмиграция чуть ли не вся состоит

именно из голодных. Нет, в эмиграции есть очень значительный слой людей, если не богатых, то более или менее зажиточных. Один этот слой, если бы он ощущал внутреннюю потребность в книге, мог бы поглотить всю нашу небольшую книжную продукцию. Он этого не делает. В элегантных эмигрантских квартирах (а их очень много) книжный шкаф или хотя бы книжная полка — редкая вещь. Русские книжные магазины пустуют, тогда как русские и не русские рестораны и кафе переполнены русскими ежедневно и ежевечерне. Когда-то на этих кофейных посиделках любили говорить о том, что сохранение русской культуры есть "миссия эмиграции". Теперь разговоры такие утихли, сменившись "житейскими". Культурная миссия растворяется в обывательщине и ассимиляции. Алданов несправедлив, по-моему, когда пишет: "Эмигрантские *deux cents families* — сомнительные регенты и пайщики сомнительных эмигрантских дел — давно исчерпали свой скромный запас интереса к искусству и вдобавок очень утомлены: они уже на прошлой неделе пожертвовали сто франков на что-то касающееся литературы". Те "двести семейств", которых он имеет в виду, делают для литературы много (хотя их деятельность направлена не совсем так и не совсем туда, куда следует). Но даже если бы они делали еще больше и поступали бы целесообразнее — все равно литература не может существовать на средства случайных благодотворителей. Для сколько-нибудь нормального существования она должна иметь более широкую и прочную базу, и не только материальную, но и духовную, во всем эмигрантском народе или хотя бы в его более обеспеченном слое. Увы, этот слой, состоящий не из двухсот, а из несравненно большего числа "семейств", к судьбе литературы вполне безучастен: ее значение, ее необходимость он перестал сознавать — если вообще когда-нибудь сознавал.

Нельзя сказать, чтобы он не читал ничего. Он читает. Но что? Дрянные еженедельники с портретами убийц, велосипедистов и голливудских звезд; детективные романы; романы г.Брешко-Брешковского — убогие отечественные подражания бульварной литературе; сердцещипательные романы

г-жи Бебутовой; высший сорт его чтения составляют романы, посвященные лирическим воспоминаниям о том, что и как ели в дореволюционной России. До романов он даже падок: настолько, что порой удается ему подsunуть серьезную книгу, написав на обложке "роман", — хотя это совсем не роман. В общем, любой книгопродавец подтвердит, что книги расходятся тем лучше, чем они хуже и пошлее. Исключения случайны и редки. Весьма показательно, что стихи не читаются вовсе; это потому, что они требуют от читателя такого литературного и душевного уровня, который ему недоступен.

Сравнивая положение эмигрантской литературы с положением советской, М.А.Алданов указывает на важное преимущество, которым мы пользуемся: "Мы пишем, что хотим, как хотим и о чем хотим", — говорит он. "Социальный заказ для эмигрантской литературы существует лишь в весьма фигуральном смысле слова, в степени незначительной и нестрашной. Социального же гнета нет никакого, как нет цензуры и санкций". Все это, действительно, так, но — только *de jure*. Фактически дело обстоит далеко не так благополучно.

Социального заказа в эмигрантской литературе действительно нет или почти нет — в смысле политическом. Пожалуй, можно даже удивляться, насколько эмиграция в этом отношении терпима. Но социальный заказ в смысле интеллектуальном и эстетическом в ней весьма ощутим — и в этом вся наша беда. От эмигрантского писателя требуется, чтобы его произведения в идейном и художественном смысле были несложны и устарелы. Тем самым из поля зрения читательской массы вычеркивается литературная молодежь, которая отпугивает новизной тем, новизной приемов и, наконец, даже самую новизною своих имен. Это не значит, опять же, что публика дарит благосклонностью писателей известных. Читаемость и здесь обратно пропорциональна качеству и в особенности новизне. Если известный автор не повторяет себя самого, если творчество его не костенеет, а развивается и усложняется, то он утрачивает читателей. Его называют "нашею знаменитостью", им порою даже гордятся (и как еще!) — но его не

читают. Тому же закону подпадают и журналы. Издания молодых не читаются вовсе. Из старших изданий читаются худшие. Улучшение журнала тоже не проходит для него даром. Я совершенно уверен, что "Современные записки" за последние два года весьма оживившиеся и сделавшие заметный шаг вперед в выборе материала, новых читателей не приобрели. Словом, мы в самом деле "пишем, что хотим, как хотим и о чем хотим". Но за эту свободу мы расплачиваемся отсутствием читателей. Можно бы сказать, что если у нас нет социального заказа в том смысле, как он понимается в советской России, то вместо него со всей силой свирепствует социальный отказ.

Точно так же у нас нет той цензуры и тех санкций, о которых говорит Алданов. На вещь, неугодную читательской массе, административного запрета никто наложить не может. Но — попробуйте на нее найти издателя. Она останется "в портфеле автора" и, не пострадав от политической цензуры, окажется выброшена цензурой застоя и дурного вкуса. Точно так же никто на писателя не наложит санкций в виде тюрьмы и высылки. Но книга, стоящая выше читательского понимания, не будет напечатана или сгниет на складе, автор же ее подвергнется тихой, приличной, не вызывающей общественного негодования санкции, которая называется голодом.

Таковы истинные, внутренние причины того несчастья, которое Алданов мягко называет бедностью и от которого наша литература не только страдает, но, всего вероятнее, и погибнет, тем более что несчастью этому наиболее подпадает молодежь, то есть само наше литературное будущее.

Могут мне возразить, что писатели (и не только русские) нуждались всегда. Совершенно верно — но не так, как эмигрантские, то есть не поголовно и не в такой страшной степени. Могут еще указать, что эмиграция все-таки малочисленна. Да, но не так малочисленна.

22 августа 1936 г.

**ИЗДАТЕЛЬСТВО
"СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК"**

- АЛЕКСЕЙ РЕМИЗОВ. КУКХА. "РОЗАНЫ ПИСЬМА".** 128 с. 6.95
Книга построена на переписке двух замечательных представителей "серебряного века" — А.Ремизова и В.Розанова — и содержит дневниковые записи и комментарии Ремизова к письмам своего старшего друга.
- КОНСТАНТИН ВАГИНОВ. КОЗЛИНАЯ ПЕСНЬ. РОМАН.** 200 с. 7.95
Роман одного из лучших писателей русского авангарда рисует аллегорическую картину гибели русской цивилизации.
- КОНСТАНТИН ВАГИНОВ. ТРУДЫ И ДНИ СВИСТОНОВА. РОМАН.** 160 с. (Тираж ограничен.) 11.50
По Вагину Петроград был новыми Афинами, внезапным явлением высочайшей культуры на берегах Невы. Для главного героя романа Свистонова литература — реальнее жизни, и людей он рассматривает с точки зрения искусства.
- АЛЕКСАНДР ЧАЯНОВ. ПУТЕШЕСТВИЕ МОЕГО БРАТА АЛЕКСЕЯ В СТРАНУ КРЕСТЬЯНСКОЙ УТОПИИ. ПОВЕСТЬ.** 196 с. 8.50
Крупнейший русский экономист-аграрник, Чаянов выступает здесь как первый русский послереволюционный социальный утопист, предсказавший крах нового режима ранее, чем это сделал Е.Замятин в антиутопии "Мы". В книге впервые появляется дата 1984, которая стала пророческим названием романа Дж.Орвелла.
- ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ. ЗАТОВАРЕННАЯ БОЧКОТАРА. РАНДЕВУ. ПОВЕСТИ.** 144 с. (ИЛЛЮСТРАЦИИ В.БАХЧАНЯНА) 7.50
- СЕРГЕЙ ДОВЛАТОВ. КОМПРОМИСС. ПОВЕСТЬ.** 128 с. 6.00
- АЛЬМАНАХ "ЧАСТЬ РЕЧИ" № 1.** 320 с. 12.50
Содержание альманаха: И.Бродский. Стихи и эссе "Ленинград"; С.Волков. Интервью с И.Бродским — статьи о творчестве Бродского: Е.Эткинд, А.Лосев, Р.Сильвестер, А.Раннит. П о э з и я — Г.Сапгир, В.Уфлянд, А.Лосев, Е.Рейн, К.Кавафи, М.Цветаева, М.Кузмин, А.Николаев. П р о з а — Ю.Алешковский, С.Довлатов, Л.Штерн, В.Ходасевич, В.Набоков. В о п р о с ы л и т е р а т у р ы — П.Вайль, А.Генис. И с к у с с т в о — Г.Шмаков, М.Ларионов и Н.Гончарова. В о с п о м и н а н и я — О.Вексель, С.Полянина, Н.Берберова, Т.Яковлева-Либерман, А р х и в — Письма В.Ходасевича М.Фроману.
- ЛЕОНИД ДОБЫЧИН. ВСТРЕЧИ С ЛИЗ. РАССКАЗЫ.** 210 с. 12.50
Крошечные, по две-три страницы, рассказы написаны почти без придаточных предложений и представляют собой как бы бесстрастный перечень незначительных происшествий. Добычин писал о том, что в обыденной жизни проходит незамеченным, о мимолетном необязательном, встречающемся на каждом шагу, его крошечные рассказы — образец бережного отношения к каждому слову. (Тираж ограничен Л)
- МАРК СЛОНИМ. МАРИНА ЦВЕТАЕВА В ПРАГЕ И В ПАРИЖЕ (В печати)** 104 с. 10.50
Воспоминания М.Л.Слонима, писателя и литературного критика — одного из самых ярких представителей русского зарубежья — могут служить свежим и ценным источником о жизни крупнейшего поэта XX века — М.Цветаевой. Автор на протяжении более чем 20 лет был дружен с Цветаевой, и ему удалось убедительно запечатлеть трагический ее облик, органично слив ее личные и творческие индивидуальности.
- МИХАИЛ БУЛГАКОВ. ЗАПИСКИ НА МАНЖЕТАХ** 128 с. 12.50
Книга посвящена "плавающим, путешествующим и страдающим писателям русским". Среди действующих лиц — О.Мандельштам, Б.Пильняк, Р.Ивнев, Ю.Слезкин. Подготовка текста и коммент. Л.Лосева.
- НИКОЛАЙ ОЛЕЙНИКОВ. ИРОНИЧЕСКИЕ СТИХИ.** 120 с. 8.00
Задолго до самиздата стихи Олейникова распространялись в списках. Он писал в эпоху метростроев и Днепротесов, громяющих сталинских од и клубящихся производственных эпопей и своей несерьезностью подрывал официально провозглашенную серьезность. Олейников был уничтожен как враг народа.
- ВЕНЕДИКТ ЕРОФЕЕВ. ГЛАЗАМИ ЭКСЦЕНТРИКА.** 82 с. 7.50
Ерофеев — одна из загадок современной русской литературы. До сих пор он был автором единственной книги "Москва—Петушки". Во второй книге Ерофеева проявились знакомые стороны его дарования. Сочетание эксцентриады и тонкой лирики.

НАДЕЖДА МАНДЕЛЬШТАМ. МОЕ ЗАВЕЩАНИЕ И ДРУГИЕ ЭССЕ. ПРЕДИСЛОВИЕ И.БРОДСКОГО. 106 с. 8.50

Книга Н.Мандельштам — жены О.Мандельштама — это книга о любви и ненависти. О любви к поэзии и о ненависти к тирании. Н.Мандельштам ушла из жизни с ощущением выполненного долга. Воздвигнув памятник гениальному поэту. Назвав поименно его мучителей и убийц,

МАРКИЗ ДЕ КЮСТИН. ЗАПИСКИ О РОССИИ 160 с. 15.00
Тысячами острых, язвительных, противоречивых цитат разошлись мысли де Кюстина по сочинениям многих русских и западных публицистов — от А.Герцена до А.Солженицына. Споры об этой книге не умолкают десятилетиями, потому что она кажется и сегодня актуальной, как 150 лет назад, когда было выпущено ее первое издание.

АПОЛЛИНАРИЯ СУСЛОВА. ГОДЫ БЛИЗОСТИ С ДОСТОЕВСКИМ. 200 с. 15.00
Дневники и письма ближайшей подруги Ф.М.Достоевского, образ которой отражен во многих его произведениях, вызывают интерес не только у специалистов. А.Суслова сыграла роковую роль в жизни двух русских гениев — Достоевского и Розанова, будучи подругой одного и женой другого. Вст.статья и примеч. проф.А.С.Долинина. (Тираж ограничен).

ВАСИЛИЙ ЯНОВСКИЙ. АМЕРИКАНСКИЙ ОПЫТ. РОМАН. 208 с. 12.00
Автор рассказывает о невероятных событиях в жизни русского эмигранта. Переведенная на многие языки, по-русски книга выходит впервые.

ВАСИЛИЙ ЯНОВСКИЙ. ПОЛЯ ЕЛИСЕЙСКИЕ. ВОСПОМИНАНИЯ (В печати). 280 с. 14.50
В книге читатель найдет галерею одухотворенных портретов, созданных свидетелем и участником творческого процесса русского литературного Парижа 30-х годов: Бердяев, Шестов, Мережковский, Ходасевич, Адамович, Цветаева, Иванов, мать Мария, Бунин и мн.др. — вот герои Яновского.

ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ. ИЗБРАННАЯ ПРОЗА В 2-х ТОМАХ. ТОМ 1. БЕЛЫЙ КОРИДОР. ВОСПОМИНАНИЯ. 320 с. 17.50
Том охватывает годы революции, послереволюционный период и годы эмиграции, отражая литературный процесс до 30-х годов. Многие статьи публикуются впервые. Книга снабжена развернутым комментарием и алфавитным указателем имен.

ТОМ 2. КОЛЕБЛЕМЫ ТРЕНОЖНИК. СТАТЬИ О ЛИТЕРАТУРЕ. 240 с. 12.50
В том вошли размышления о современном положении литературы и ее будущем.

ЯКОВ ГОЛОСОВКЕР. ДОСТОЕВСКИЙ И КАНТ. ПРЕДИСЛОВИЕ МИХАИЛО МИХАЙЛОВА (в печати). 140 с. 10.00
Известный философ, пробывший долгие годы в лагерях, крупнейший специалист по вопросам античности, в своей книге "Достоевский и Кант" выявил структурно-типологический аналог героев Достоевского. Книга написана живым и доступным языком..

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ. ВПРОК. ПОВЕСТЬ. 100 с. 8.00
Наряду с "Котлованом" и "Чевенгуром" повесть может быть поставлена в ряд лучших произведений А.Платонова. Со времени первого издания повести прошло более 50-ти лет, и она почти неизвестна читателям.

МИХАИЛ БАХТИН. ФОРМАЛЬНЫЙ МЕТОД В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ 236 с. 18.50
Эта книга — одна из основных теоретических работ выдающегося мыслителя и ученого М.Бахтина. В ней развивается идея тесного взаимодействия литературы с другими видами идеологической действительности. Значительное внимание уделено также критике "формального метода". В книге предвосхищены многие принципы и идеи структурной поэтики и семиотики. (Тираж ограничен.)

МИХАИЛ ГЕРШЕНЗОН. СУДЬБЫ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. 68 с. 7.50
Автор — замечательный историк литературы — был другом многих выдающихся писателей и философов: Шестова, Андрея Белого, В.Ходасевича. Один из участников сборника о русской интеллигенции "Вежи".

**ОПЛАЧЕННЫЕ ЗАКАЗЫ ПРОСЬБА ПРИСЫЛАТЬ ПО АДРЕСУ:
SILVER AGE PUBLISHING. P.O. BOX 384. REGO PARK. N.Y.
11374**

Справки по тел.: (212) 699-5653
Просьба добавлять 1 дол. за первый и 50 центов за каждый последующий том на пересылку. Жители Нью-Йорка — добавляйте 8% налог. Покупатели за пределами США, добавляйте 1.50 дол. за первый и 75 центов за каждый последующий том на пересылку и оплачивайте заказы международными денежными переводами в долларах США.



ПО ТУ СТОРОНУ ОКНА

Григорий Перкель, которому мы посвящаем сегодняшний вернисаж, говорит: "Еще в школе, сидя за партой, я смотрел в окно и школьный двор мне казался сказочно прекрасным. Там была свобода, там было спасение. Чего бы я только не дал, чтобы очутиться в эту минуту там, по ту сторону окна. С тех пор окно для меня всегда символ воли, желанной, прекрасной и недостижимой. Всю жизнь мы стремимся к свободе и никогда ее не достигаем. Ибо, помимо всего прочего, несвобода в нас самих, в нашей жизни со всеми ее тревогами и заботами. Но свобода всегда манит нас этим маленьким светлым квадратом. Как бесконечность. Как надежда".

Для Перкеля эмиграция — это словно бы перелет с Земли на Луну, с которой можно увидеть нашу планету сразу всю. Полностью. Это прорыв к новым горизонтам, к бесконечности.

Ну а как же на холсте реализует художник это свое стремление к бесконечности? Вот перед нами цикл, названный Перкелем "Тотемы" (грандиозный по масштабам — 52 холста — он был выставлен в Нью-Йорке и, кстати, был высоко оценен прессой, в том числе и американской). Расшифровать "Тотемы" в привычных нам реальных категориях невозможно: нет. Это не люди, не вещи и никакие не предметы. Это символы человеческих страстей, характеров, привя-

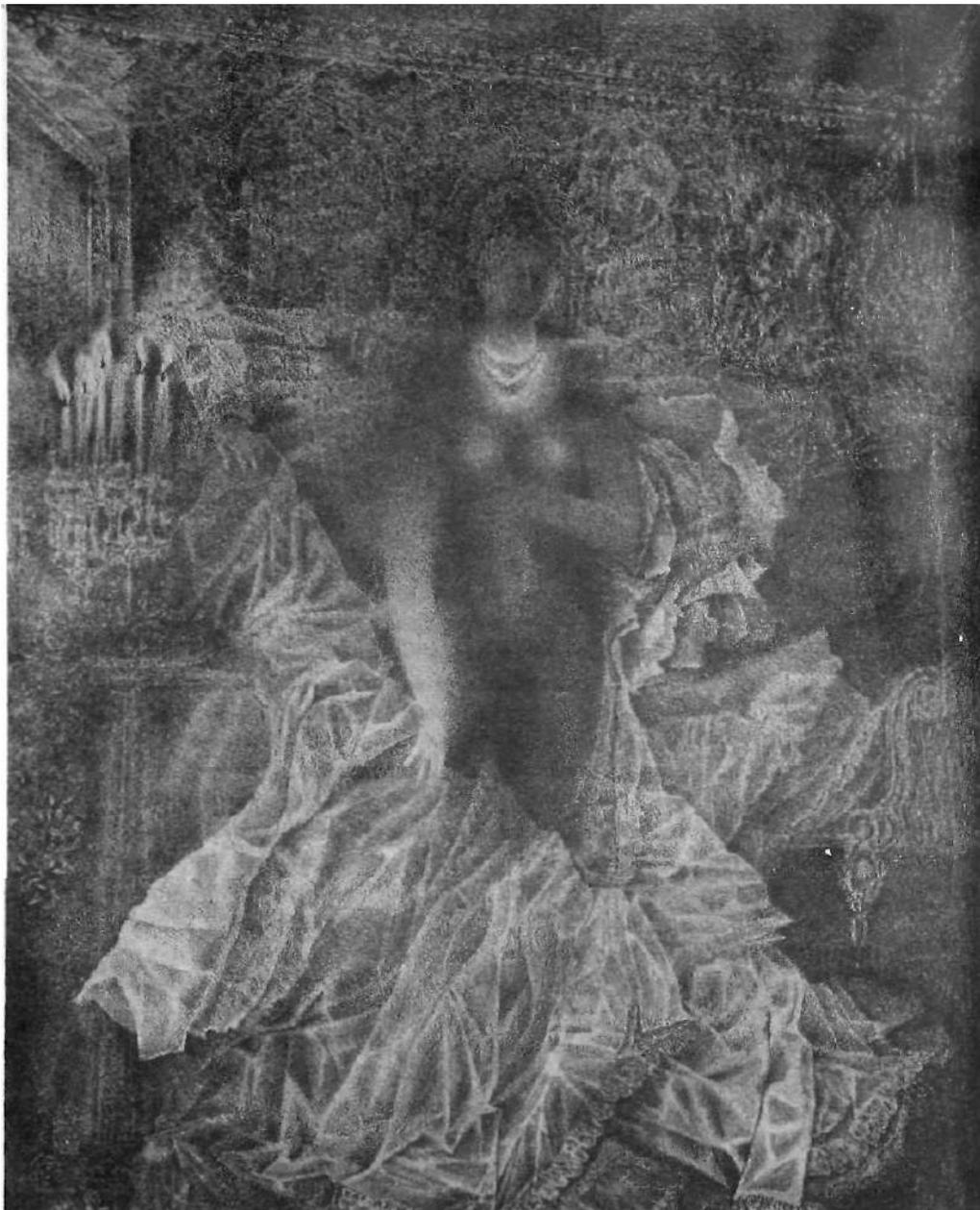
занностей, настроений. И все это настолько причудливо и фантастично, что едва ли не у каждого вызывает противоположные эмоции — у кого-то ужас, у кого-то восторг, у кого-то покой и умиротворенность...

Иллюстрации к "Войне и миру", к "Двенадцати" Блока, к Шолом-Алейхему, которые читатель увидит на страницах "Вернисажа" — сделаны Перкелем еще в Союзе. И опять ничего общего со столь знакомыми с детства персонажами — настолько все неожиданно, что словно бы впервые встречаем мы Наташу Ростову, Элен, будто никогда не знали персонажей Шолом-Алейхема.

"Художник, — продолжает Перкель, — должен иметь свой словарь. Да именно словарь: свой стиль, свой метод, если хотите, у каждого должен быть свой собственный неповторимый мазок".

Однако вернемся в мастерскую Перкеля, где, похоже, рождается совсем новый цикл под условным названием "Последний день Помпеи". Перед нами совершенно обычное фото — одна из миллионов тривиальных витрин, где женщины-манекены демонстрируют белье, — и рядом художник помещает копию фрески из Помпеи с изображением обнаженных женщин. Работа построена на контрасте: женщина — манекен, и женщина — как некая духовная субстанция. Настоящее познается через прошлое, через вчерашний день человечества. Этот контраст художник называет загрязнением идеалов, это его, Григория Перкеля, ответ на вопрос, куда идет современный мир. Художник приглашает нас к раздумью, он погружает нас в свой странный мир и заставляет задуматься о смысле бытия.

Б.АЛЕКСАНДРОВСКИЙ



Элен Безухова.
Серия литографий к роману Л.Н.Толстого "Война и мир"



Наташа Ростова.
Серия литографий к роману Л.Н.Толстого "Война и мир"



Масонская ложа
Серия литографий к роману Л.Н.Толстого "Война и мир"



Праздник Торы.
Иллюстрация к Шолом-Алейхему.



Иллюстрация К поэме А.Блока "Двенадцать".

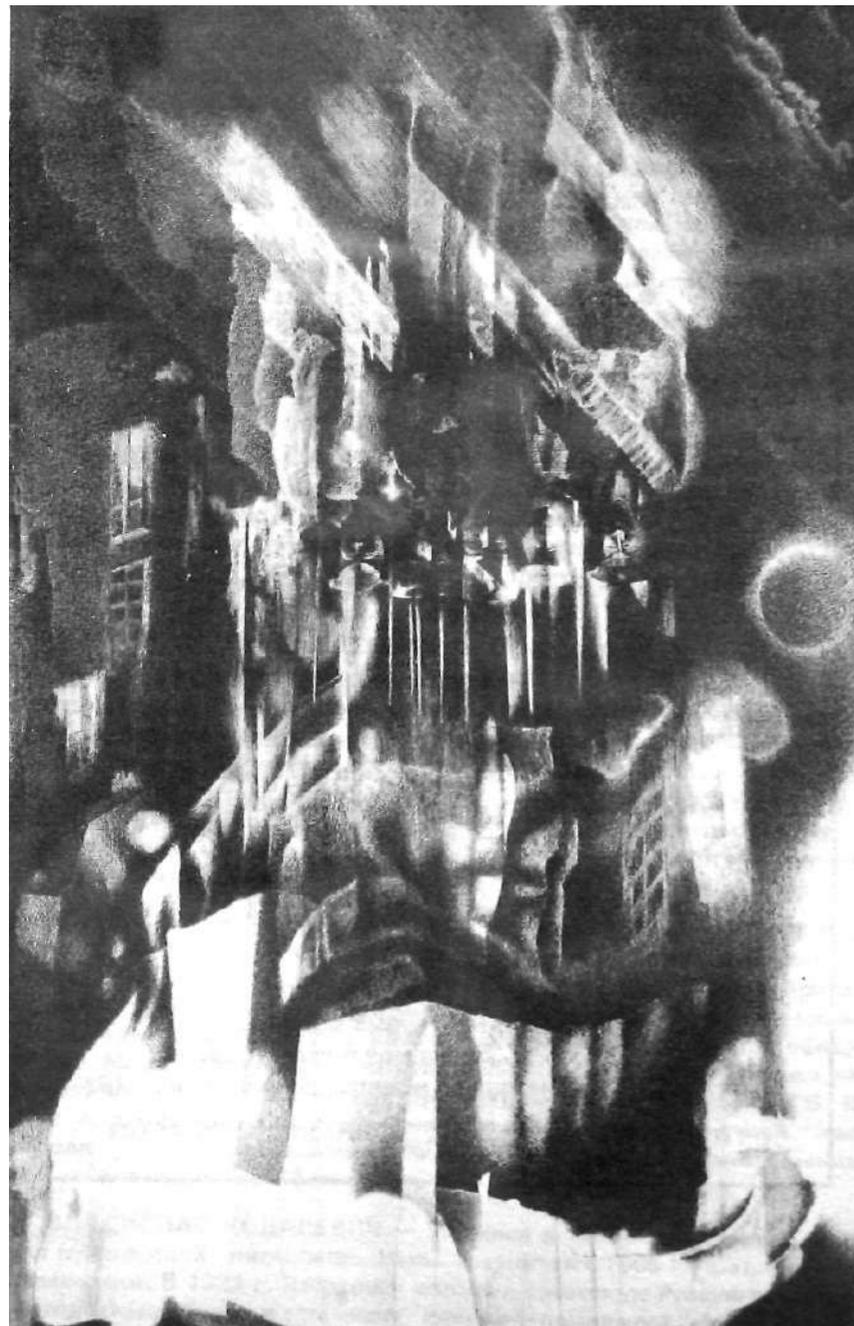


Иллюстрация к поэме А.Блока "Двенадцать"



КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА „АРДИС“

- Саша Соколов, „Школа для дураков“. 1976.
 Саша Соколов, „Полисандрия“. 1983.
 В. Аксенов, „Ожог“. 1981.
 В. Аксенов, „Бумажный пейзаж“. 1983.
 Ф. Искандер, „Сандро из Чегема“. 1979.
 Ф. Искандер, „Кролики и удавы“. 1982.
 А. Битов, „Пушкинский дом“. 1978.
 И. Бродский, „Часть речи“. 1977.
 И. Бродский, „Новые стансы к Августе“. 1983.
 А. Цветков, „Состояние сна“. 1981.
 В. Набоков, „Приглашение на казнь“. 1976.
 В. Набоков, „Бледный огонь“. 1983.
 В. Набоков, „Дар“. 1975.
 М. Булгаков, „Собрание сочинений в 10-ти томах. 1982.
 Том 1, Ранняя проза, 1982.
 М. Булгаков, „Неизданный Булгаков“, 1977.
 И. Бабель, „Забывшие произведения“, 1979.
 В. Ходасевич, „Собрание сочинений в 5-ти томах. 1983.
 Том 1, Полное собрание стихотворений. 1983.
 О. Мандельштам, „Проза“. 1982.
 А. Белый, „Почему я стал символистом“. 1982.
 „М. Цветаева - Фотобиография“. 1980.
 „М. Булгаков — Фотобиография“. 1984.
 С. Полякова, „Цветаева и Парнок“. 1982.
 А. Гладили, „Большой беговой день“. 1983.
 В. Войнович, „Иванькиада“. 1976.
 В. Войнович, „Выбор“. 1984.
 „Метрополь — литературный альманах“. 1979.
 Л. Копелев, „Утоли моя печали“. 1982.
 Р. Орлова, „Воспоминания о непрошедшем времени“. 1983.
 Ardis, 2901 Heatherway, Ann Arbor, Mich. 48104

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

АРКАДИЙ ЛЬВОВ — учился в Одесском университете. В 1946 г. был исключен с мотивировкой: за клевету на советский народ и за еврейский буржуазный национализм. Лишен права продолжать учебу в высших учебных заведениях, однако в дальнейшем все-таки добился права закончить университетское образование. После университета работал в школе и занимался литературным творчеством. В СССР было опубликовано шесть книг Львова и более чем две сотни статей и рассказов. В эмиграции продолжает работать как писатель. Автор вышедших за границей книг: "Двор", "Одесские рассказы", "Утоление печали" (опыт исследования еврейской ментальности) и др.

ЛЕВ МАК — родился в 1939 г. в Одессе. Окончил Высшие сценарно-режиссерские курсы в Москве. Автор трех киносценариев. В США приехал в 1975 г. На Западе вышли два поэтических сборника Мака. Живет в Лос-Анджелесе.

САВЕЛИЙ ГРИНБЕРГ — родился в 1914 г. Поэт и переводчик. Работал в качестве научного сотрудника в Литературном музее и Музее В.В. Маяковского. В Израиль эмигрировал в 1973 г. Уже в Израиле опубликовал новые книги стихов и поэтических переводов с иврита.

ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ - см. № 73.

ДОРА ШТУРМАН - см. №70.

СОЛОМОН ЦИРЮЛЬНИКОВ - родился в 1905 г. в Елизаветграде. Учился в Одесском институте народного хозяйства. После революции был участником молодежного сионистского движения. Эмигрировал в Палестину в 1928 г. Участник левосоциалистического рабочего движения. После войны был секретарем "Общества дружбы Израиль-СССР", из которого вышел в 1956 г. в знак протеста против угроз советского правительства в адрес Израиля. Автор многочисленных статей о политических проблемах Израиля.

БОРИС ХАЗАНОВ (Геннадий Файбусович) — родился в 1928 г. в Ленинграде. Учился на классическом отделении Московского университета, откуда был исключен за антисоветскую пропаганду. Приговорен к восьми годам лагерей. В 1955 г., после освобождения окончил медицинский институт и работал как врач в Калининской области и в Москве. Занимался литературной работой. Публиковался на Западе, за что был подвергнут преследованиям со стороны КГБ. В 1982 г. эмигрировал в Германию. Хазанов — автор повестей "Час короля", "Я — Воскресение и Жизнь", философского эссе "Письма без штемпеля", книги "Запах звезд".

ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ — родился в 1886 г. в Москве. Окончил Московский университет. Начал печататься с 1905 г. Поэт, критик, переводчик. В 1922 г. Ходасевич покинул советскую Россию навсегда. Автор многих книг, в том числе книги воспоминаний "Некрополь" — одном из лучших образцов мемуарной литературы. "Колеблемый треножник" — вторая книга воспоминаний Ходасевича.

ЖУРНАЛ "ВРЕМЯ И МЫ" - 1983

УСТАНОВЛЕННЫ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

Стоимость годовой подписки в США — 43 доллара; для библиотек — 48 долларов; с целью экономической поддержки журнала — 50 долларов. Заказы и чеки высылать по адресу главной редакции:

Time and We

475 Fifth Ave, suite 511-a. New York, New York 10017

Цена в розничной продаже — 8.50

Стоимость подписки в Израиле устанавливается израильским отделением журнала "Время и мы". Заказы и чеки высылать по адресу отделения: Иерусалим, Талпиот мизрах, 422/6 (зав.отделением Дора Штурман-Тиктина).

Подписка из Франции, Германии и других стран мира может осуществляться как через главную редакцию в Нью-Йорке, так и через представителей журнала.

При подписке в главной редакции чеки высылаются только в американских долларах (т.е. это должны быть чеки американских банков или иностранных банков, имеющих в Нью-Йорке отделения).

При подписке через представителей журнала (или его отделения) стоимость подписки:

— во Франции — 350 франков; для библиотек — 400; с целью экономической поддержки журнала 450 франков;

— в Германии — 115 немецких марок; для библиотек — 125; с целью экономической поддержки журнала — 140 марок.

Подписка авиапочтой — 86 долларов.

ВРЕМЯ И МЫ" - 1983 ГОД

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Фамилия

Имя

Адрес

Подписной период

Прошу оформить подписку на журнал "Время и мы" на год. Высылать с номера

Журнал высылать обычной /авиа/ почтой по адресу

Подпись

Примечание редакции: чек выписывается по-английски на имя журнала "Время и мы" /Time and We/.

Из Германии, Англии, Франции и других стран чеки могут высылаться либо непосредственно по адресу главной редакции, либо в адрес представителей журнала.

Подписка оплачивается в американских долларах чеками американских банков и иностранных банков, имеющих отделения в США. и высылается по адресу: "Time and We"

**475 FIFTH AVENUE, SUITE 511-A, NEW YORK.
NEW YORK 10017. Tel. (212) 684-3014**

**Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их
поводу редакция в переписку не вступает.**

**MAIN OFFICE: 475 FIFTH AVENUE, SUITE 511 A,
NEW YORK 10017, Tel. (212) 684-3014**

Printed in Israel

OCR и вычитка - Давид Титиевский, февраль 2011 г.
Библиотека Александра Белоусенко

**На первой странице обложки:
Григорий Перкель. Праздник Пурим. Фрагмент
На четвертой странице обложки:
Григорий Перкель. "Эпилог" из серии иллюстраций
к роману Л.Н.Толстого "Война и мир".**

